

Протоиерей Вячеслав
Винников

**"КТО-ТО ПОМОЛИЛСЯ:
"ГОСПОДИ ИСУСЕ."**

2005

Table of Contents

[«Я на плач о них Тобой поставлен...»](#)

[От автора](#)

[ВОЙНА](#)

[НЕ УКРАДИ](#)

[НЕ УБИЙ](#)

[СОЛНЕЧНЫЙ ПОДВАЛ](#)

[ШКОЛА](#)

[У ПРЕПОДОБНОГО](#)

[ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО](#)

[«ПРИИМИ ЗАЛОГ СЕЙ...»](#)

[ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ИЗМАЙЛОВЕ](#)

[АНТИОХИЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ](#)

[ДНЕВНИК СВЯЩЕННИКА](#)

[ЩИ ДА КАША — ПИЩА НАША](#)

[ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ, ЕСЕНИНСКАЯ ГРУСТЬ](#)

[КНЯГИНЯ КОЛОМЕНСКАЯ](#)

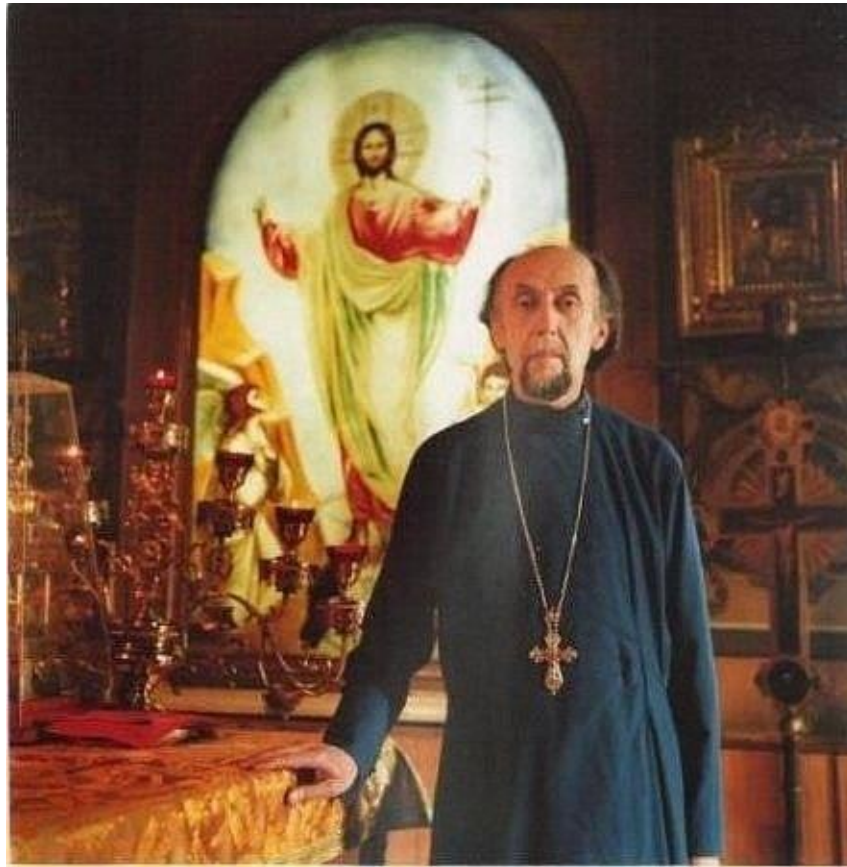
[РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА](#)

Annotation

Воспоминания и дневниковые записи отца Вячеслава Винникова, знакомого читателям по книге «Я поверил от рожденья в Богородицын Покров», представляют искренний душевный рассказ о его пути к священству, о Московской Семинарии 1960-1970-х годов, о церковном сопротивлении во время хрущевских гонений, о современных проблемах Церкви, о том, как людям не хватает сегодня любви и сострадания друг к другу. Книга написана простым ласковым языком, читается на одном дыхании и оставляет ощущение радостной встречи с настоящим священником и очень добрым человеком. Отца Вячеслава называют есенинским батюшкой: он тонко чувствует родство поэзии и молитвы и с поэтической нежностью относится к миру.

Книга собрана из записей автора и подготовлена к печати духовными детьми отца Вячеслава. Адресована широкому кругу читателей.

«Я на плач о них Тобой поставлен...»



«Кто-то помолился: «Господи Иисусе» — вторая книга отца Вячеслава Винникова, вышедшая в свет через три года после первой — «Я поверил от рождения в Богородицын Покров». Воспоминания и размышления «есенинского батюшки» вызвали поток благодарности и слез: в Антиохийском подворье можно увидеть людей, которые сквозь слезы, или с трудом сдерживая их, благодарят отца Вячеслава за книгу, наполненную любовью к Богу и людям. Вторая книга выросла из первой и во многом продолжает ее, а потому отклики читателей на одну из них могут дать ключ к пониманию другой.

Читатели приходят на занятия Воскресной школы, пишут рецензии и письма, но более всего батюшку радуют те из них, кого книга впервые привела в храм. Восьмидесятилетняя женщина прочла книгу и пришла креститься; другая — с доверием повернулась к Церкви, а внучка священника и давняя прихожанка храма Илии Обыденного — написала трогательное письмо:

«Глубокоуважаемый отец Вячеслав!

Низкий поклон Вам и благодарение!

Господь вдохновил Вас, и Вы написали чудесную книгу. Читается она буквально на одном дыхании и оставляет на душе светлый след с грустинкой.

Ваши яркие воспоминания вернули меня в мое далекое прошлое и особенно во все то, что связано с храмом пророка Илии в Обыденском. Мы жили недалеко от этой церкви, прихожанками ее были еще мои бабушки. Этот храм любил посещать и мой дедушка Георгий, митрофорный протоиерей, но к большой нашей печали в годы репрессий его арестовали и он погиб в тюрьме.

Я помню отца Николая, отца Александра-настоятеля и отца Александра Егорова, который был нашим духовным пастырем. (...) Отец Александр крестил моих детей, а Вы, отец Вячеслав, крестили пятнадцать лет тому назад мою внучку Анечку.

Ваша мама пела акафисты Серафиму Саровскому по понедельникам в храме Илии в Обыденском. Обычно служил отец Александр, и я там тоже бывала. Молилась я в Николо-Хамовническом храме. Весь этот район, с его улицами и переулочками, дорог мне с детства. (...)

А когда я прочла Ваши рассказы об Архангельском, у меня радостно забилося сердце и появились слезы на глазах...»

Это письмо особо дорого воспоминаниями о храме Илии Обыденного, в котором, по семейному преданию, духовно пребывал погибший в 1941-м году папа отца Вячеслава — Николай Васильевич Винников. После войны бабушка Ариша увидела во сне женщину, которая сказала ей: «Что ты все плачешь о Николае, иди во Второй Обыденский переулок, дом номер три, он там живет». Дом оказался храмом.

Эта книга посвящена отцу священника — «отцу отца», от которого остались детские воспоминания, фотографии, фронтовые письма, позднее бережно переписанные сыном, неутешная боль утраты и многолетняя молитва. Только в начале 1970-х отец Вячеслав и его мама Елена Филатовна нашли братскую могилу в Калуге, где был похоронен воин Николай. Отец Вячеслав многие годы беседует с отцом, рассказывает ему о своем служении, о маме и ждет, неизменно ждет встречи. Ему кажется, что папа еще тогда, в далеком сороковом, предвидел духовный выбор своего сына:

«Папа, наверное, что-то предчувствовал: как он смотрит на фотографии, будто вглядывается в мое будущее, а может, видит то, чего мы не видим... Мне кажется, мы с папой понимали друг друга: я чувствовал, что останусь один, а он, возможно, предвидел, что у меня в жизни будет что-то очень важное, а что, тогда ему этого было знать не дано».

Миссия священника — исцеление «слепых», не видящих Бога. Еще мальчишкой Слава Винников собирал ребят во дворе, пытаясь доказать им, что Бог существует и без Него жить нельзя. Школьником он записался в центральную библиотеку Москвы и жадно вычитывал из дореволюционных изданий сведения о Боге, Церкви и ее людях. Зачитывался поэзией, особенно Есениным, и заполнял тетрадки стихами. Потом он их будет читать маме, матушке, своим друзьям, а позднее — прихожанам. У батюшки есть своего рода поэтическое правило: на Преображение он с амвона читает Пастернака:

*Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени*

*Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.*

На Иверскую звучит Цветаева, в Великий пост — «Отцы пустынники и жены непорочны...» Пушкина, на Троицу и Покров — «Троицыно утро, утренний канон...» и «Льется пламя в бездну зренья...» Есенина, а на день иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» — стихотворение Солодовникова:

*Когда мы радости не чаем,
В слепую скорбь погружены,
То тихий взор Ее встречаем
И слышим голос: «Спасены».*

Стихи он не декламирует, а проживает: будто входит в поэтическое слово и одновременно прислушивается к его звучанию со стороны, соединяется с автором, но при этом остается слушателем. Отец Вячеслав давно врос в Есенина: он вспоминает, что когда впервые прочел есенинские стихи, почувствовал, что «я — это Есенин, а Есенин — это я». Священник обрел в поэте нежный голос, сплетающий кружева слов о мире, наполненном Богом и живыми чувствами людей, поэт же обрел в батюшке молитвенника, а может быть, и духовного отца. Если жизнь продолжается на небесах, может, и там духовные чада и отцы находят друг друга?

Любовь к литературе подвигла батюшку взяться за перо, а его простой и ласковый слог вырос из русской классики. Журналист Михаил Поздняев, прочитав книгу «Я поверил от рожденья в Богородицын Покров», написал отцу Вячеславу: «У Вас чудесный, живой, теплый и легкий слог, заставляющий вспомнить Лескова, Шмелева и рассказы Солженицына — при том, что Вы никому не подражаете, не впадаете в манерную стилизацию. (...) Только не именуйте в новом издании писания Ваши «зарисовками»: каждая, даже коротенькая запись — вполне законченна и полноценна».

Многие читатели признаются, что книга захватывает, действительно читается на одном дыхании, вызывает слезы любви и сострадания, но главное — она влечет к себе, поддерживает людей. Ее можно читать почти с любого места, находя то, что поможет человеку в данную минуту. Для многих первая книга отца Вячеслава стала настольной, к ней обращаются за советом и поддержкой, ее дарят друзьям, потерявшим близких, так как она утешает в скорби; ее же дарят на крестины, потому что она бережно, с любовью направляет человека к Богу. «И вот теперь, после моей первой книжки, столько людей ко мне приходят, изливают свою душу, свою боль за живых и ушедших. Может быть, они почувствовали во мне сопечальника, соболезника, и мне кажется, что все, что они рассказывают, это про меня, а им кажется, что все, что в моей книге, — это о них».

Слово отца Вячеслава может растопить сердце, и оно омоется слезами радости и сострадания. Одно время у нас на подворье служил молодой жизнерадостный отец Михаил, который любил повторять, глядя на отца Вячеслава: «Я собрал всю радость мира, а отец Вячеслав — все скорби». Высокий, почти бесплотный отец Вячеслав и упитанный розовощекий отец Михаил удивительным образом напоминали пару Дон Кихота и Санчо Пансы. Отец Вячеслав действительно всей душой откликается на скорбь

и ценит способность сострадать в других. Помню, как после потери любимой тетушки я удрученно призналась, что не могу справиться с бедой, а он сказал: «Вот и хорошо, что плачешь. Хорошо, что мы так можем любить своих близких». И слезы обернулись радостью.

Батюшка часто плачет: от радости, что человек обратился к Богу или покаялся, от восторга перед возвышенной строкой, от благодарности, переполняющей сердце, от скорби-любви и скорби-сочувствия. Его плач — проявление любви к слабым и беззащитным, в первую очередь — к детям. Он верит, что «мир держится на детях и на праведниках, которые и есть дети», и глубоко расстраивается, когда сталкивается с грубым отношением к детям в Церкви. Все дети, пришедшие в храм, для него — Христовы, а значит, священник становится им отцом, молитвенником и защитником.

Он и во всех людях видит детей Божиих, его отличает глубокое чувство сыновства, как земного, так и небесного. Это искреннее живое сыновство исполнено благодарности Богу и Божией Матери, маме и папе, учителям Семинарии и церковным наставникам. Журналист Надежда Кеворкова отметила в рецензии на первую книгу: «Это книжка, в которой благодарность и радость — главные мелодии, книжка, в которой не стыдно быть наивным, не стеснительно — добрым».

Отличительная черта книг отца Вячеслава — предельная искренность, которая возможна лишь при полном доверии человека к Богу. Авраам, ходивший «пред лицом Господа», — образец такого состояния души. Настоящая книга не может быть написана с оглядкой на человека, она должна быть повернута к Господу и адресована Ему. Духовное слово всегда обращено к Богу, а через Него — к людям. Те, кого смущает исповедальная открытость автора, недооценивают значение искренности в общении человека с Богом. Митрополит Антоний Сурожский в учении о молитве основной акцент делает на искреннем стоянии перед Богом: «Как часто нашу молитву искажает то, что мы пытаемся стать перед Богом не такими, какие мы есть, а такими, как мы воображаем, Он хочет нас видеть: мы приходим к Нему словно ряженые, втиснутые в рамки взятых напрокат отношений». Книги отца Вячеслава — урок стояния в правде без ложных претензий и прикрас.

Такое стояние может быть обретено только в молитве. В этой книге, по сравнению с предыдущей, больше места уделено молитве и тишине, в которой молитва совершается. К священнику, как в приемную скорой помощи, обращаются люди в беде. Его лекарство — молитва, вопль к Богу, вздыхание о болящем, благодарность за помощь. «Я на плач о них Тобой поставлен», — обращается батюшка к Богу, надевает епитрахиль, встает «на коленочки» и поет любимый акафист Споручнице. Поет в храме и дома, в лесу и в метро, вслух и «про себя», и молится, молится, молится: о болящих и путешествующих, скорбящих и плачущих, сдающих экзамены и защищающих диссертации. И когда он молится, ему кажется, что это его близкие больны или что это он поступает в медицинский институт или консерваторию.

Но особая молитва у батюшки об усопших. Отца Вячеслава можно назвать кладбищенским батюшкой. Подходя к Даниловскому кладбищу, он любит повторять есенинские строки: «В переулках каждая собака знает мою легкую походку». Могильщики, продавцы цветов, нищие, собаки, голуби и вороны действительно хорошо его знают. Но не все люди понимают, почему он почти ежедневно приходит на родные могилки, украшает их цветами, поет панихиду и акафист, поздравляет усопших с праздником, беседует с ними. По вере его дано ему непрерывающееся чувство единства

с близкими. На вопрос: «Вы опять на кладбище?» он отвечает: «А как же. Я всю жизнь возвращался к маме и матушке после службы. К ним иду и сейчас». Могилки его родных превратились в кладбищенские кануны, откуда поднимается столп молитвы ввысь на ложе Авраамово. Нас, духовных детей отца Вячеслава, приезжающих с ним на кладбище в дни памяти и именин Елены Филатовны и матушки Тамары, пронзает у могилок евангельская истина: «У Бога все живы!» На кладбище плачущий батюшка своей молитвой и любовью побеждает смерть и утверждает вечную жизнь. В книге он приводит слова Владимира Соловьева: «Умерли твои отцы, но не перестали существовать, ибо ключи бытия — у меня, говорит Вечность, не верь, что они исчезли, и, чтоб увидеть их, свяжи себя с невидимым верной связью Добра: чти их, жалей о них, стыдись забывать их». С горечью отец Вячеслав описывает заброшенные могилы и равнодушие родственников: «Страшно, когда человек умирает для всех, и люди вычеркивают его из памяти. Для большинства ушедший человек — отрезанный ломоть. Такое отношение — предательство, а если предал ты, то предадут и тебя, когда ты уйдешь из этой жизни».

Скорбь о преданных и предающих наполняет главу «Открытое письмо», в которой идет речь о забытых защитниках Церкви 1960-1980-х годов. Тема эта непопулярна и опасна сегодня, когда живы еще те, кто принимал решения о закрытии десяти тысяч церквей, об арестах, и те, кто безропотно подчинялся приказам. Для автора книги события тех лет не история, а жизнь близких ему людей, которые у него на глазах жертвовали свободой, благополучием и здоровьем семей, а порой и жизнью своей ради Бога и Церкви. Как показывают жития святых, настоящие подвижники всегда были неуютны властям, на них ополчалась то монастырская братия, то священноначалие. Ситуация усугубилась в советское время, когда церковные власти оказались в полной зависимости у антихристианского режима. Вероятно, пройдут годы забвения и клеветы, как случилось с большинством новомучеников, прежде чем будут написаны жизнеописания архиепископа Гермогена (Голубева), Бориса Талантова и двенадцати вятичей, когда будет по достоинству оценено мужество священников Глеба Якунина, Николая Эшлимана, Димитрия Дудко, Сергия Желудкова, мирян Виктора Капитанчука, Льва Регельсона, Александра Огородникова, Анатолия Левитина-Краснова и других. Одни имена сегодня под запретом, другие — оклеветаны и обесчещены. Церковная память безмолвствует и тем самым предаёт исповедников и мучеников. О церковном сопротивлении во время жестоких хрущевских гонений — отдельный плач отца Вячеслава, который помнит слежку, доносы, судебные разбирательства, провокации, и тот животный страх, который, казалось, сковал тогда всех. Сердце батюшки скорбит и о гонимых сегодня. Как отмечает в рецензии на первую книгу Надежда Кеворкова: «Немалое мужество требуется от пишущего, чтобы в нынешней ситуации говорить добрые слова об отце Глебе Якунине или отце Георгии Кочеткове. (...) Автор не сомневается, что крепкое стояние в правде и исповедничество, проверенное годами тюрьмы и лагерей, будут оценены по достоинству людьми, не прошедшими такого испытания».

Сегодня в Церкви бытуют разные взгляды на последние десятилетия советской власти. Для отца Вячеслава главное — пробудить в людях сострадание к тем, кто пострадал за Христа. А взгляды, конечно, могут быть разными. «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор.11, 19) «Благодарю Господа, — пишет одна из читательниц первой книги, — что он послал мне

Вашу книгу в поучение и в утешение. Поучение в том, что часто наши взгляды расходятся, но ясно, что это — второстепенное, и я это ясно увидела. Увидела, что любовь Божия важнее, чем взгляды на людей и события, что мне она дороже, чем мои мнения и пристрастия. А утешением для меня были Ваши слова об отце Александре Мене, который шестнадцать лет был моим духовным отцом и которого я глубоко почитала и почитаю. Я верю, что Божия правда все преодолеет, что иссякнет источник злобы, из которого поднимается волна лжи, и слово моего дорогого батюшки будет вести ко Христу многих».

В одном из московских храмов первый том зарисовок отца Вячеслава «Я поверил от рожденья в Богородицын Покров» продавался с трогательной припиской «Очень добрая книга». Надеемся, что и вторую книгу читатель назовет доброй, искренней и глубокой, что она проложит людям путь к молитвенной жизни и передаст им дар слез в радости о Христе.

*Елена Волкова,
духовная дочь отца Вячеслава*

От автора

*ДОРОГОМУ ПАПЕ,
«ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ ТЕБЯ И ДОМ ТВОЙ» (Втор.15, 16)*

О себе писать трудно, и все же попытаюсь, расскажу еще, как сумею, о своей жизни...

По прочтении моей первой книги «Я поверил от рожденья в Богородицын Покров» многие спрашивали, будет ли продолжение. Я подумал: жизнь продолжается — нужно писать. Тем более что некоторые темы не оставляли меня: я захотел более подробно рассказать о папе, более убедительно объяснить свое отношение к творчеству Есенина, а также к отцу Глебу и другим защитникам Церкви 1960-1980-х годов. Название книги пришло опять из стихов Есенина, из рязанской избы, где потрескивает печка, дремлет кот и звучит молитва. Очень хочется, чтобы моя книга помогла людям почувствовать присутствие Божие в мире и понять, что без Бога жить нельзя, и чтобы, прочитав ее, они из глубины души могли воскликнуть: «Господь мой и Бог мой!»

Про кота есенинского

*Задымился вечер,
Дремлет кот на брусе,
Кто-то помолился:
«Господи Иисусе».*

Многие считают, что брус — это что-то деревянное, вроде бревна, а на нем лежит кот и дремлет. На самом деле брус — это верхняя часть русской печки, прямо под потолком: там тепло и оттуда все видно, даже парное молоко в кринке-махотке. А если хочется помечтать, то на брусе чего только в голову не придет: дальние страны, где тигры водятся и рыси, где обычный кот превращается во льва и во сне может с наслаждением порычать.

Хозяйка блины печет, масляная неделя, скоро пост, ведь не зря говорят «не все коту масленица». Блин со сметаной... с бруса что ли слезть, а то налетят ребята, и ничего не достанется. А лень слезать, масленица еще неделю продлится, успею блинков поесть, а пока подремлю... Бок отлежал, надо перевернуться, другой погреть... Ребята блины уписывают, а сметана какая густая, ложка стоит не падает. Солнце уже погасло, щас лучину зажгут, хозяйка лампадку затеплила, перед иконой встает: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя, грешную...» Все молятся, и я, пожалуй, что-нибудь промурлыкаю. Не про меня ли написано «всякое дыхание да хвалит Господа», вот я всякое и есть.

ВОЙНА

Папу убили на войне, и мы остались втроем: мама, слепая парализованная бабушка и я. Маме приходилось много работать, чтобы нас прокормить... Жили мы в подвале «шефского дома» в Хамовниках, недалеко от храма Николая Чудотворца. Помню, как мама тихо напевает сквозь слезы:

*Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началась война.*

22 июня мама была у себя на работе в справочном бюро на Серпуховской площади и ничего не знала. «Все утро подходят молодые мужчины и спрашивают, как найти военкоматы. Я даю им справки и улыбаюсь, настроение хорошее. Один из них спрашивает: «Барышня, а что вы улыбаетесь? Что такие веселые?» — «А чего мне не улыбаться? С чего грустить?» Посмотрел он на меня: «Слушайте, барышня, да Вы ничего не знаете. Война же началась».

Мне было три года: бомбежки, голод. Мы с бабушкой каждый раз ждали, придет или не придет мама с работы, что нам тогда делать, если останемся вдвоем. Мама приходила и опять уходила, а мы опять ждали... Мама так меня любила, что ничего не говорила мне о войне — не хотела пугать. Когда бомбили и я спрашивал, что это, она отвечала: «Это ребята сараи ломают», — боялась, что я от страха заикаться стану или тик начнет. Я смеялся и был совершенно спокоен.

Как-то мама бежала по Языковскому переулку во время бомбежки, растрепанная, с глазами, полными ужаса. Добегу, думала, до дома или нет. Там сынок Слава и мама. Что с ними будет, если не добегу? Рассказывала об этом и вся тряслась. Сколько перетерпели наши мамы во время войны, сколько перестрадали, а мы этого не ценим. Мама ходила в больших не по размеру галошах, которые к ногам привязывала веревками. Как-то шла по улице, они развязались и слетели с ног, а за ней молодые военные: «Барышня, барышня, это вы галоши потеряли?» А мама в ответ: «Нет, не я». И побежала дальше босиком.

Бабушка очень беспокоилась, ожидая маму с работы. Ее беспокойство передавалось и мне, мы вместе переживали томительные часы, топили печку, если было чем топить, и пили «какавеллу» — шелуху от кофе, которую заваривали без сахара, потому что его не было. «Какавелла» продавалась в голубых пакетиках, от нее исходил слабый аромат, и казалось, что мы пили не пустой кипяток. Пайки хлеба были очень маленькие: кажется, на взрослого полагалось триста граммов в день, а на детей чуть больше. Конечно, если этот хлеб есть с чем-то другим, хотя бы с супом, то он бы даже оставался... Но другого ничего не было, и триста граммов исчезали моментально. Как-то раз в очереди у хлебной палатки мама увидела под ногами небольшой довесок. Она все смотрела на него и выбирала момент, как бы его поднять и съесть так, чтобы никто не заметил и не отнял у нее этого куска. Голод был, самый настоящий голод. Фирменным подвальным блюдом был суп из очисток. Еще, помню, ели мурцовку — это

вода, крошенный хлеб, лук и подсолнечное масло. Мурцовка ходила в подвальных деликатесах, вроде какой-нибудь солянки в ресторане. Вещи продавали, чтобы выжить. Мама, кажется, отдала гардероб, 16 катушек ниток и что-то из папиной одежды тете Фене с первого этажа за пол-литровую банку риса! И то считалось, что она ее пожалела и «уступила». Но я не очень сильно чувствовал голод, потому что мама с бабушкой почти все отдавали мне, а себе оставляли самую малость. Мама мне говорила потом: «Сынок, ты не голодал».

Мама в войну работала уборщицей в Институте международных отношений, где в буфете продавались соевые сырки. С разрешения начальства их можно было купить по сходной цене, а потом продать подороже. Начальник (которого, кажется, звали Николай Петрович) был человек добрый, старался помочь, чем мог. «Торгуйте, — говорил, — только не попадайтесь, а попадетесь — меня не выдавайте». Мама рассказывала: «Купили мы сырков двадцать и пошли с подругой на Большую Чудовку (теперь начало Комсомольского проспекта). Продали несколько сырков, а тут милиционер: «А ну, пойдем в милицию». Я в слезы: «Муж погиб, ребенок малый, мать слепая», — а он «пойдем», и все тут. За спекуляцию тогда сажали, и надолго. Милиция была в Пуговичном переулке, иду я, ног под собой не чую. «Отпусти, — говорю, — возьми и деньги, что у меня есть, и сырки, только отпусти». А он ведет и ведет. Пришли, посадил нас в кутузку. Сидим, трясемся. Через некоторое время вызывает нас начальник: «Так, значит, спекулянты... Знаете, что за это полагается в военное время?» Я ему опять про убитого мужа, про сынка, про мать... «Ладно, отдайте ваши сырки им, — он показал на милиционеров, — а сами идите домой и больше не попадайтесь». Вот так моя мама в войну спекулировала сырками. Когда она это рассказывала, мне было жалко ее до слез. А начальника своего мама не выдала, сказала, что сырки перекупила и продавала по цене чуть выше.

Хорошо помню свой день рождения в конце войны. Не знаю, где мама раздобыла бутылку молока и французскую булочку и сколько она на это потратила, только помню, как сижу я за столом, а передо мной то, что могло присниться только во сне: хрустящая булочка и мо-ло-ко!

Как-то мама поехала на вещевой рынок продавать папин меховой полушубок. Подошел к ней мужчина и попросил примерить. Надел полушубок и пошел. Мама за ним: «Да куда же ты, а деньги?» Люди помогли догнать его и отобрали полушубок. Потом мама его все же продала. Жаль, а то бы я в память о папе носил.

Окна были заклеены бумажными лентами крест-накрест, под потолком висела синяя лампочка, окно к вечеру занавешивалось одеялом, чтобы ни один лучик света не проникал на улицу, не то могли разбомбить дом. Если начиналась бомбежка, мы оставались в подвале, который заменял нам бомбоубежище. У всех в комнатах мерцали моргасики (самодельные светильники на масле), значит, не включали даже синие лампочки или электричество отключали. В углу нашей комнаты Спаситель, печка, заслонка, полешки, стружки, кубики, камушки угля, на печке что-то варится, если есть что варить. Подвал был глубокий, мы только выходили в коридор и садились недалеко от своей двери в уголок, который был закреплен за нами. Бабушка держала иконы Спасителя и Божией Матери Владимирской, молилась, и так мы переживали бомбежку.

Москву бомбили, и с неба сыпались листовки от Гитлера: «Русские, меня не бойтесь, я иду уничтожать жидовско-коммунистическую партию». Когда немец был уже под Москвой, к нам как-то раз вбежал мужчина, увидел иконы и кинулся к бабушке:

«Продай, за любые деньги». Некоторые почему-то думали, что немец не тронет тех, у кого есть иконы.

Дом без икон — сирота, это все равно что дом без хозяев. Если в доме не живет Господь, то это — заброшенный дом, Он же Хозяин всех нас. С Господом человек не чувствует себя ни одиноким, ни оставленным. Иконы в подвале у многих были, но, конечно, не у всех — поработала советская власть и довольно успешно. Вот и послана была нам война, чтобы мы опомнились: и сразу, с начала войны, стали наполняться храмы, люди Бога вспомнили. Воистину, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Прекратились гонения, стали открывать закрытые церкви. Сталин обратился к народу: «Братья и сестры...» То сажал и расстреливал братьев и сестер, а как настало время спасать Россию, которую он почти погубил, все стали для него братьями и сестрами. Так священники обращаются к прихожанам, потому что у нас один Отец — Господь, а мы все братья и сестры. Вспомнили Бога, поэтому и победили, а не потому что были у нас какие-то выдающиеся полководцы. Господь ими руководил и посылал им правильные решения. Неужели мы никогда этого не признаем и будем по-прежнему себя обманывать? Вместо того, чтобы приписывать все успехи себе, надо бы сказать: «Не мне, не мне, а Тебе, Господи». Господь спас Россию, а нам всем это был урок, что без Господа мы пропадем и погибнем. Если бы народ не оставил молитву перед войной, то и войны бы не было.

Я хоть и был тогда махонький, но тоже пережил войну. И когда сейчас некоторые говорят: «Мы воевали!» — мне хочется сказать: «Все воевали!» У меня такое чувство, что и я воевал, и мама, и бабушка. Чтобы выжить, всем нужно было сражаться, даже грудным младенцам. В каждом человеке было заложено противостояние войне. Будь то на поле боя или в маленькой квартирке, все были воины, потому и выстояли. Зримо или незримо в каждом присутствовала вера в Бога и Его помощь, — это как нравственный закон, который, по словам апостола Павла, заложен в каждом человеке и действует даже помимо его воли. Нас всех спасла вера — сила, заложенная в нас крещением, победила. Крест нечеловеческих страданий был поднят над Россией, а сим крестом пришла и победа, ведь где Голгофа, где Крест, там и Воскресение и Спасение. Осознать бы это каждому. Много говорят и пишут о войне, но почти никто не говорит о Боге, а ведь Он в центре этой бури войны, как и в любой буре. Вспомните апостолов в бурю на море, как они испугались, что утонут, и вдруг услышали Христа: «Не бойтесь... только веруйте и спасетесь». Во время войны люди кинулись в храмы искать спасения и защиты у Христа.

В доме напротив у меня были товарищи Алька и Витька, они ходили босиком не только летом, но и ранней весной, и осенью — надеть было нечего. Зимой они носили какие-то опорки. Мы вместе мечтали. Знаете о чем? О батоне белого хлеба, от которого мы могли бы отрезать ломтик, посыпать его сахарным песком и отправить в рот. И сейчас представляю этот ломоть хлеба, а сверху крупинки сахара...

В подвале у нас была печка, с заслонкой, кружочками и поддувалом, которое уходило вверх в побеленный потолок. Сидишь, бывало, подкладываешь полешки, смотришь, как они потрескивают, на пламя любишься... А наверху что-то варится, греется... Возле дома был рынок, на котором можно было что-нибудь выменять. Да только выменивать нам было не на что. За кусочек сахара там можно было получить целый костюм, а за щепоть табаку — шапку и еще что-нибудь в придачу. Рынок часто

разгоняли, а он опять возникал, переходя порой в глубь нашего подвала, где легко можно было скрыться от милиции, а при желании с другой стороны дома выбежать.

В Хамовнических казармах мама убирала кабинеты и уборные. Заходит как-то в уборную, а у толчка в сырости и грязи валяется кусок черного хлеба. Она принесла его нам с бабушкой.

Хлеб, хлеб, хлеб... Он был у всех на устах, да не во рту. Потерять карточки тогда означало потерять жизнь. Но и тогда Господь не оставлял, и мы выживали. Как-то мы все заболели, лежим в жару, хлеба ни крошки, вдруг открывается дверь — на пороге Феня: «Дорогие вы мои, как узнала, что вы все болеете, решила зайти». И ставит на стол... бидон. «Ой, простите, у меня тут все вместе — и первое, и второе, и третье — по другому из столовой вынести не могла». Феня, Феня, Господь тебя тогда прислал. Мне надо молиться за нее, теперь уж она умерла, наверное.

Помню старика, который нам приносил стружки, когда нечем было топить печку. Получал ли он что-нибудь за это — не знаю, но помню, но мы его звали Закутай Дверь, потому что, уходя, он всегда просил меня закрыть дверь на крючок, говоря: «Мальчик, закутай дверь». Мне это прозвище казалось очень смешным.

У всех во дворе были свои сараи, а еще в подвале был чулан, там было темно, что-то лежало, и я никак не мог понять что, да и страшно было в темноте. Когда начался голод, дядя Коля Лаврентьев как-то поинтересовался, что там лежит в пакетах, думал, что мука. Мама его отговаривала пробовать, но голод взял свое, и дядя Коля испек из той «муки» лепешки. Они получились красивые, румяные, я их очень хорошо тогда разглядел. Дядя Коля при мне отломил от лепешки кусочек, но есть не смог. По-видимому, это был клейстер. Потом многие в подвале сокрушались, что его нельзя есть.

Когда сын дяди Коли Лаврентьева Виктор потерял карточки, отец его жестоко избил, и мы все Витю жалели. Я тоже ходил с карточками за хлебом и после этого случая очень боялся их потерять. Не потому, что меня побьют (мама меня никогда не била), я боялся, что без хлеба останемся и умрем с голоду.

Помню еще американскую тушенку, очень вкусную, которая, видимо, уже в конце войны к нам попадала. А однажды та же тетя Феня пришла к нам, сняла пальто, а из-под платья достала капроновый чулок, набитый гречневой кашей.

У нас во дворе был парень, все его звали Чапай, хотя он был Юркой. Он был из большой семьи со второго этажа. Так вот, он ходил по помойкам и собирал совсем осклизлые картофелины и другое «съестное», что попадалось под руку. Я сам видел: оботрет такую «картофелину» об рукав — и в рот. Многие мои сверстники по помойкам лазали.

НЕ УКРАДИ

В войну у нас во дворе останавливались военные машины по пути на фронт: покрытые брезентом и наглухо задраенные веревками так, что и комар не подлезет. Спать военные уходили к нам в дом, их пускали, а то в машине можно было и замерзнуть (особенно зимой). Как-то вечером я подошел к одной машине, потрогал брезент, под ним нащупал что-то круглое, похожее на картошку, с трудом просунул под брезент руку (хотя рука у меня была худенькая), разжал пальцы и ухватил картофелину. Теперь ее надо было вытащить, но если без картофелины рука пролезла, то с ней обратно никак не шла. Я и руку всю ободрал, и другой рукой помогал, и веревку старался оттянуть, но ничего не получалось. Долго я мучился, но все-таки вытащил «свою» картофелину и принес ее домой. Мама испугалась: «Сынок, ты этого больше не делай, увидели бы, кто знает, чем могло кончиться, да и на руку свою посмотри, на что она похожа».

Картофелины я еще выменивал у своего товарища Юрки Лапина. У него отец шофером работал и возил овощи. Приду, бывало, а она лежит у них на полу. Я говорю: «Что ты хочешь за картофелину: фантики, ножичек (который было очень жалко) или еще что-нибудь?» Что-то ему отдавал, брал картофелину, просил: «Может, еще одну дашь?» И если получал, стремглав бежал по коридору домой обрадовать маму: здесь для меня все было по-честному и совесть не грызла.

Вот видите, разве кто-нибудь сегодня знает, что отец Вячеслав в детстве воровал? Один раз я стащил с сиденья кабины в военной машине половинку черняшки (черного хлеба). Уж не помню, что говорил маме, как оправдывался. Как-то фантики украл у своего товарища Витьки Лаврентьева (уж очень они мне понравились), а он догадался, и мне пришлось их вернуть. А еще мыльницу украл у соседки с умывальника на общей кухне. Мыльница была такая красивая, оранжевая... Соседка куда-то отошла, а я раз — и в карман, а она — к маме. Славка, говорит, здесь вертелся. Мама тогда рассердилась: а ну, поди верни и попроси прощения. Ох, и трудно мне было, сквозь землю готов был провалиться, и больше никогда не воровал, но если еще что припомню из своего воровского прошлого, обязательно расскажу.

Когда началась война, нас хотели эвакуировать, даже какие-то подъемные дали. Во двор въехали грузовики, мама стоит с узелками, бабушка, я... Уже залезать хотели. Откуда ни возьмись дядя Коля Лаврентьев (его из-за зрения на фронт не взяли):

— Лена, ты куда собралась? А ну давай слезай!

— Николай, да ты что?

— Слезай, тебе говорят, а деньги верни.

(Умел он как-то взять и все перевернуть, по-своему сделать).

— Поедешь к нам в Торговцево, это недалеко от Дмитрова, — вот тебе и будет эвакуация.

От станции до Торговцева было километров десять пешком, мы часто останавливались передохнуть. У дяди Коли и тети Поли была большая изба и трое детей: старшая Тамарка, потом Виктор и Ларка. Меня они приняли хорошо и

относились, как к своим детям. Вот я там и жил, а мама с бабушкой вернулись в Москву. Мама с крестной по очереди ко мне приезжали с продуктами.

Помню, во дворе были куры, коза с козлятами и козел. Как-то подошел я к нему, а он двинулся на меня: сзади стена, а передо мной его рога. Я ухватился за них и изо всех сил отталкиваю, почувствовал, что он немного отступил, бросил рога — и бежать. Испугался я и больше к нему не подходил.

Дом принадлежал еще их деду Иосифу, которого все звали Осипом. После его смерти Витька стал рыться на чердаке и обнаружил сундук, полный старых ассигнаций. Посмотришь на свет, а там Петр I, Екатерина II, Александр III. Мы в них играли, а потом в Москве на царские николаевские трешки покупали мороженое. (Старые деньги, кроме самых крупных, чем-то напоминали советские рубли: трешки, пятерки и даже двадцатипятирублевые.) На Крымской площади у мороженщицы часто толпилось много народу, если ту николаевскую трешку по-особому свернуть да в толкучке сунуть, продавщица может и не разобрать. Мы же мороженое хватать — и бегом оттуда. Но, бывало, возьмет, развернет: ах, такие-сякие, вон отсюда! Кому-то может и подзатыльник дать. А мы на следующий день к другой мороженщице. У меня от того времени остались двадцать пять рублей Александра III да три и пять рублей николаевские. Вот видите, выходит, я и мошенником был, не только вором.

После войны я очень увлекся собиранием старинных монет. В 1946 году, когда проводили газ, у дома были вырыты траншеи. Я спустился вниз и стал внимательно смотреть: дом-то старинный, при Екатерине II выстроен, неужели никто никогда ничего здесь не терял? Смотрю: какой-то кружочек зеленью покрыт, поднял, о рукав потер, зелень немножко сошла, — три копейки медные и вензеля Екатерины II. Позднее я узнал, что у моего товарища Витьки Савицкого, с первого этажа, есть старинные монеты. Пошел к нему, он мне их показал, особенно мне понравился медный пятак екатерининский, большой и тяжелый. Взял я как-то свой маленький перочинный ножичек, которым очень дорожил, и выменял его у Витьки на пятак. И сейчас этот пятак занимает в моей коллекции самое почетное место: 1767 год!

В детстве у нас была такая игра: идет какой-нибудь солидный человек по улице вдоль Хамовнических казарм, живот вперед, выступает важно... А мы к нему сзади подстраиваемся, один за другим, человек десять, и, передразнивая его, идем с ним в ногу. Вокруг все смеются... Он идет и идет, а вдруг обернется — и все врассыпную.

Или, например, привязывали на нитке бумажный рубль и клали на дорогу. Многие проходят и ничего не замечают, а кто-то идет, под ноги смотрит и... вдруг видит рубль. Быстро нагибается, чтобы поднять, пока другие не опередили, а рубль вдруг взял и «побежал». Вначале не понимает человек и опять нагибается, руки к рублю тянет, а он опять «бежит», тут уж человек догадывается, почему рубль убегает. Он смущен, а мы смеемся: здорово мы его обманули.

А еще делали стукалочки. Подберешься незаметно к окну барака, подвесишь стукалочку из картошки (это уже когда картошки было в достатке), спрячешься подальше, в кустах или за забором, и дергаешь за ниточку. Вот в окне кто-то появился, смотрит — не поймет, кто стучит, никого не видит. Только отойдет, мы опять за ниточку дергаем, опять кто-то выглядывает, потом исчезает, мы — бежать: сейчас хозяин выйдет и кому-то несдобровать.

Помню, как арбузы воровали... После войны между бараками была овощная база, куда привозили арбузы. Дорога туда проходила прямо мимо нашего дома. Станем у подвала, притаимся. Едет грузовик, полный арбузов, только поравняется с подвалом — кто-нибудь из нас вскакивает на заднюю стенку борта и кидает нам один или два арбуза, сколько успеет, мы хватаем их — и в подвал, выбегаем с другого конца, и ищи ветра в поле...

Надо же, сколько, оказывается, в моем детстве темных страниц: «вор, вор, воришка, залез ко мне в карман, вытащил рублишко».

НЕ УБИЙ

В конце войны во дворе, ближе к баракам, в сарае жили пленные немцы. Сарай был весь дырявый, между досок ладонь проходила, внутри, кроме сена, ничего не было. Чуть подальше, за баракom, видимо, они же рыли траншеи. Принесешь им поесть, хоть малюсенький кусочек хлеба, — в обмен получишь зажигалку, сделанную из патрона.

Однажды во время войны к нам во двор въехала военная машина, а ближе к вечеру в подвал спустились наши командиры и попросились переночевать. Дело было зимой, в страшный мороз, командир в разговоре обронил: «А они пускай там померзнут». Это он о немцах, которые остались в машине. А мама говорит: «Пускай и они придут, места хватит». Командиру стало неудобно, он покосился на маму и ушел. Через некоторое время пришли два немца: один совсем молодой, а другой уже в возрасте. Командир ушел ночевать в другую квартиру, а немцам мама постелила на полу в комнате. Тот, что постарше, немного говорил по-русски и очень благодарил маму за то, что пустила их, все показывал на меня, мол, у него тоже есть такой сын. Потом показал на себя и к маме: а где, мол, твой муж?

— Убили.

И как-то сникла. Пожилой заплакал.

— Может, это я его убил?

Тут заплакала мама.

— А ты вот нас принимаешь...

— Война есть война...

— Мы же не сами. Нас послали, и мы пошли воевать,...

Я их помню: оба в ночных рубашках, в подштанниках, на меня все смотрели и улыбались.

Скоро День Победы. Мама всегда накануне этого дня говорила: «Разве это праздник, когда столько людей погибло. Молиться надо за них, панихиды служить, слезы одни в этот день, вот что». Я слушал сегодня интервью с Виктором Астафьевым: «Какой это праздник — это день печали: какие парады? Веселятся, медалями бряцают... В храмы надо идти, панихиды служить и в домашней обстановке помянуть... Пятьдесят миллионов вместе с гражданским населением погибло». А он прошел войну, хорошие книги о ней написал. Вот так живем и ничего не помним: все веселимся... можно сказать, на костях погибших. Мама говорила: «Сынок, папка погиб, как тут можно веселиться...»

СОЛНЕЧНЫЙ ПОДВАЛ

Я часто вспоминаю наш подвал в «шефском доме»: как войдешь в комнату, небольшой фанерный гардеробчик с маленьким зеркальцем — самоделок — у кого-то за тридцатку купили. Рядом стояла кровать железная с набалдашниками. Затем святой уголок... В тумбочке из Хамовнических казарм лежали святые книги. На тумбочке стояли иконы — Святая Троица из Троице-Сергиевой лавры, над ней Казанская, еще повыше Господь Вседержитель, слева от Казанской Боголюбская в рост, тоже из Лавры. Справа преподобный Сергей, потом шла стена с батареей парового отопления и окно. Под окном ниша, где ставили кастрюли. Четверть окна закрывал свод, затем опять стена, здесь, кажется, на табуретке стояла электроплитка. Рядом была моя железная кровать на досках, затем стена, где стояла печка. Потом еще простенок и дверь. У двери стояло кресло, самое настоящее, с подлокотниками, я его с помойки приволок. Это было самое почетное место — на него гостей усаживали. Когда к нам впервые пришла Тамара, она тоже сидела в этом кресле. А посередине стоял квадратный стол и очень старые стулья и табуретки. Кажется, стул был всего один и тоже с помойки. Это уж потом тетя Таня Тропаревская, которая работала вместе с мамой в детской больнице, подарила нам четыре венских стула. Они и сейчас у мамы в Беляеве стоят.

Подвал наш был темный, с тяжелыми сводами, сырыми стенами, порой его даже затопляло, но остался он в моей памяти светлым, солнечным, и сердце щемит, как вспоминаю о нем. Самой солнечной в подвале была наша комната, там из иконного угла исходил незримый свет, который освещал все. В моем подвале все как в сказке: мама, папа, бабушка, солнечный луч в окне, Божия Матерь... Там начиналась моя жизнь. Потому я часто езжу к моему дому или мысленно в нем бываю: в нем начало, исток моей жизни. Но в подвал мой попасть нелегко, там теперь «винополие», как говорил мой крестный: бар и ресторан в нашей комнате, а в кухне — ювелирный магазин. Да и в детство мое не пробраться, не вернуться...

Набегаешься, бывало, наиграешься, и юрк в подвал, на кухню, губами к крану, к холодной водичке и пьешь вкусную, прохладную, течет тебе за воротник — не оторваться. А потом опять бегом в салки, в прятки, в ручейки, казаки-разбойники, испорченный телефон, в садовника: я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме... В садовника и в бояр играли не только мальчишки, но и девчонки: бояре, мы невесту выбирать... бояре, она дурочка у нас... Воспоминания, как осколки от разбитого зеркала. Неужели это все было и было со мной? Теперь сижу в кресле, мне за шестьдесят, старый и больной, и ни тебе ручейков, ни бояр, ни испорченных телефонов. Хорошо еще дом наш сохранился и есть куда прийти да все вспомнить. В доме живет Союз писателей. Писатели, редакторы снуют туда-сюда, и никому невдомек, зачем у подвальных окон стоит худой старик с бородкой и о чем он думает. Окна закрыты решеткой, за стеклами ничего не видно, там — стена. А за стеной его комната, с печкой, бабушкой... И эту стену ему никогда не разрушить, они — там, а он — здесь. И сколько он еще будет стоять здесь — никто не знает. Каждое утро, как проснется, думает: а не поехать ли ему к своему дому? Собирается и едет. Так и живет от поездки к поездке. Вот чудак! Сам себе он кажется маленьким мальчиком, который сейчас влезет в окно и увидит свою семью и весело потрескивающую печку...

У дома был большой двор, где стояло много сараев, в которых хранились дрова, потому что до 1946 года, когда провели газ, у всех были печки. За дровами ездили куда-то за Белорусский вокзал, старались выбрать бревна посуше: «Дяденька, сухеньких березовых положи...» Сидели в кузове на бревнах, возвращались домой и рубили дрова во дворе. Я, молодой хозяин, рядом со своим сараем, который еще мой папа до войны построил, рублю дрова колуном. Мне всего лет семь, но я все рублю да поглядываю, мне надо за папку порубить, постараться. Мама меня нахваливает. Потом сидишь у печки и полешки подкладываешь: хорошо, тепло, как в деревенской избе. Позднее, когда печку ломали (а мне пришлось помогать), я носил ведра с кирпичами на улицу и плакал: так мне было ее жалко.

Эх, дали бы мне сейчас мой подвал, я бы в нем все восстановил, все по местам расставил. Приходили бы люди, а им бы говорили, что здесь жил батюшка отец Вячеслав, вот на этой кровати спал, за этим столом обедал, сюда к нему приезжали архиереи и священники... «Да чем же он был известен?» «Все молился о своих грехах, грехов у него было много». — «Ну и как, замолил свои грехи?» — «Да нет. Другие теперь за него молятся, — может, и простит его Господь...»

Мне очень хочется переночевать в своей подвальной комнате. Живу я сейчас на двенадцатом этаже, а в душе так и остался человеком из подвала. Мне бы хоть просто посидеть там на стуле в тишине и темноте и прислушаться... к тому, что когда-то было. Темнота помогла бы мне увидеть, а тишина — услышать свою комнату такой, какой она была. Слушал бы бабушку, маму, папу, крестную...

Мама очень любила икону Божией Матери Боголюбской: Божия Матерь во весь рост, с воздетыми руками. Она, как живая, шла по подвалу, в длинной ризе, с венчиком на голове... Какходишь в комнату, взор сразу на Нее, и Она на тебя смотрит. Мама, бывало, скажет: сынок, завтра Боголюбская, надо на службу поехать.

Мама родила меня в роддоме на Шаболовке, дом № 52 (там же, как оказалось, родилась и моя матушка Тамара). Роды были очень тяжелые, и мама все кричала: «Божия Матерь, Царица Небесная, помоги...» Я теперь думаю: вся наша жизнь — моя и мамина — связана с Божией Матерью. Перед хамовнической иконой «Споручницы грешных» мама всю жизнь молилась, и я по сей день Ей молюсь: «Божия Матерь, Царица Небесная, помоги...» С этими же словами мама ушла в могилку, с ними, даст Бог, уйду и я: с чем пришел в этот мир — с воплем к Ней, к Преподобной, — с тем его и покину!

Когда я был маленьким, мы знали очень мало молитв. Они были написаны на небольших листочках полуграмотным почерком со многими ошибками, искажены были до неузнаваемости. Единственная из наших знакомых, кто знала молитвы и службы, была наша соседка тетя Липа (Олимпиада). Она пришла к глубокой вере, молясь за своего сына Петра, который был преступником и всю жизнь сидел по тюрьмам, а она ходила по всем храмам и за него молилась. Петр как украл что-то в семнадцать лет, так и пошло: и даже в тюрьме ему срок повышали, он и там успевал что-то натворить. Как-то его выпустили (дошла молитва его бедной мамы), и я увидел его на лестнице: красивый статный парень с открытым лицом, совсем не похож на преступника. Пока он был в тюрьме, тетя Липа очень бедствовала и сдала угол одному полковнику. Жили они, как родные, тетя Липа все старалась жильца к Богу обратить и

говорила, что у нее получается. Однажды, когда полковник был на службе, а тетя Липа — на работе, Петр нарядился в военную форму, забрал все вещи полковника и... только его и видели. Пришла тетя Липа с работы, сразу все поняла, бросилась к военному в ноги: «Прости его...» Не стал полковник ни в милицию заявлять, ни тетю Липу упрекать, понял, как ей больно и в каком она отчаянии. А Петька все равно за что-то попался и опять загудел в тюрьму, больше я его не видел. А образ тети Липы у меня в памяти остался. Славная была старушка, полная, круглолицая, всегда улыбалась и все рассказывала о Боге да о Церкви, вечно молилась о своем сыне и своей молитвой приобщала к Церкви других. Как-то сказала маме: «Лена, а ты на акафист Божией Матери «Споручнице грешных» ходишь?» — «Нет». — «Так давай сходим, я за тобой зайду во вторник вечером».

*(...) Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
(...)
Скажет бабушка несмело:
«Что ж, сидеть-то до зари?»
«Ну, а нам какое дело, —
Говори да говори».*

Я бабушку почему-то не помню здоровой, ходячей, помню только, как она чуть-чуть оправилась от паралича и совсем немного стала ходить, опираясь на стол и подтягивая левую ногу. Правая нога просто волочилась по полу, но бабушка и такому «хождению» радовалась, потому что очень не хотела быть нам в тягость... Но так она «ходила» очень недолго, может быть, несколько дней, а потом слегла совсем.

Мы с мамой души в ней не чаяли. Ее не только мы любили, но и весь подвал, и даже верхние этажи. Все к ней шли: кто за советом, кто за молитвой, а кто просто посидеть, — всех к ней тянуло. У бабушкиной кровати стояла табуретка с тазиком, который я, мама или добрые люди, когда надо, убирала. Я был бы готов это делать до седых волос, лишь бы она от нас не уходила. Я ей и ноготочки и волосы сам стриг. Особенно трудно было стричь ногти на больной неподвижной ножке обыкновенными ножницами, а других не было, и я боялся бабушку поранить. Волосы остригали бабушке очень коротко, под мальчика, чтобы вши не завелись. Одеяло у нее было солдатское, из чего шинели шьют. Я помню, что оно было совсем ветхое, все в дырочках.

Бабушка любила вареные яблоки: откроешь горячий чайник, положишь туда яблоко и крышкой закроешь, потом достанешь яблоко, а оно такое ароматное, кожица легко сходит, и беззубая бабушка легко с ним справляется. А то станет мне сказки рассказывать: про Ивана-дурака, про кита-рыбу, а если видит, что мне нравится, то все выдумывает и выдумывает, лишь бы я доволен был. А я заберусь к ней на кровать, к стеночке, и слушаю... Ни мама, ни я представить себе не могли, чтоб нашей бабушки не было. Зачем тогда и жить, ведь все делалось для нее. Все чувствовали нашу любовь к ней, с ней было тепло, светло, и подвал наш был с ней не подвал, а царские хоромы. Я из школы бегом домой, к бабушке; мама придет с работы, сразу к ней: как она там?

Почему же я бабушку здоровой не помню? Она заболела, когда мне было лет пять-шесть, мог бы и запомнить, ан нет, не помню.

Вечером у нас соседи собирались: тихо, уютно, кот на табуретке лежит дремлет, и кто-нибудь что-нибудь рассказывает, а я в уголке сижу, слушаю... Так благодатно, так хорошо, все такие мирные, улыбающиеся, в уголке иконочки, и ничего лишнего нет.

Когда ее не стало, осиротела наша комната: придешь и не знаешь, куда себя деть, и мама тоже грустит... Нет нашей бабушки. Шел 1955 год. Места на кладбище у нас не было. Попросили помочь дядю Колю Лаврентьева, дали что-то из денег, собранных по дому, и он выхлопотал могилку у самой дальней стены. Отпевал бабушку отец Геннадий там же, на Даниловском. С этого времени Даниловка стала мне родной. Мама все ездила к ней на могилку и не боялась в глубь кладбища одна ходить: к маме своей идет, чего же бояться. И я бегал на кладбище, убирал могилку, песочком посыпал, молился, как умел, и вспоминал, вспоминал ее сказки, любящие глаза, и всю ее такую добрую, любимую... Я ее как-то нарисовал, так она и сидит у меня сейчас в рамочке. Мама, бывало, посмотрит на мой рисунок и скажет: «Вылитая бабушка!» Я что-то очень верное ухватил, хотя никаких художественных талантов у меня не было. Хорошую память о себе оставила моя родная бабушка Ариша. Заждалась она меня, наверное...

Соседи в подвале хоть иногда и ругались между собой, но жили дружно, все друг про друга знали, помогали друг другу как могли. Случалось в жизни подвала и страшное и смешное. Бывало, тетя Маруся Александрова кричит: «Абраша, иди котлеты есть!» А все смеются. Во-первых, ее сына звали не Абраша, а Виктор (Абраша было его дворовым прозвищем), а во-вторых, никаких котлет у них и в помине не было. Не то что котлет, а простой картошки не было; семья была очень бедная, да и во всем подвале никто котлет не видел: не было ни у кого ни мясорубок, ни мяса. Самое вкусное, что я ел в детстве, — это жареная картошка, кусок черного хлеба и стакан водопроводной воды.

Жили мы очень бедно. Мама как-то раз купила мне дешевый костюм, который хорошо смотрелся: то ли цвет был выигрышный, то ли мои ботинки на микропорке — была такая белая подошва — спасали положение. Одним словом, счастью нашему не было предела... Нам пришлось здорово «поджаться» с едой, чтобы себе такое позволить. И, чтобы увидеть себя в этом великолепии, я становился на табуретку и подставлял к зеркалу то одну, то другую часть тела, так как зеркало в нашем самодельном фанерном гардеробе было очень маленькое и находилось довольно высоко, в нем, кроме лица, ничего не было видно.

И вот я «при параде» вышел на улицу и встал около дома. Сейчас, думаю, все будут на меня смотреть. Какой я нарядный, какой «дорогой» на мне костюм и какие модные коричневые ботинки. И правда, дядя Коля Лаврентьев подошел, пощупал костюм, посмотрел через очки, потом снял очки, а потом... взял, да где-то из-под подкладки нитку как выдернет! Я перепугался, а он нитку поджег и нюхает, пахнет паленой шерстью или нет. После этого я боялся с ним встречаться. Он из только что купленных ботинок зачем-то стельку вырывал, а подошвы чуть ли не языком лизал — проверял, кожаные они или нет.

Время унесло и дядю Колю, и костюм, и ботинки... А гардероб наш остался только на старой фотографии, где видно маленькое зеркальце, железную кровать, а рядом мама сидит за своей машинкой и улыбается.

Мама и перелицовывала одежду, и платья шила, и кофточки, а когда помоложе была, могла и пальто сшить, и зимнее, и демисезонное... Сколько народу к ней

приходило — никому не отказывала. Мастерица была. Помню, как она разметку на материале делала небольшим мелком. Так и стоит у меня перед глазами: на шее сантиметр, на пальце наперсток, в руках ножницы, нитки, на столе выкройки.

Удивительно, что Тамарина мама тоже была швея. Не знаю, училась ли она, как моя мама, или была самоучкой, но шили они обе здорово. Какие костюмы шила Тамаре ее мама, просто загляденье. И подруг ее обшивала.

Позднее мы с мамой вспоминали подвал как потерянный рай: тихий двор с сараями, лошадки на плацу, рядом церковь (жили почти что в церковном дворе), моя школа, переулочки, деревянные домики и бараки — все это ушло... Сейчас там Комсомольский проспект, машины так и снуют, никак не перейдешь. Остались лишь воспоминания, да нет старой Москвы...

Сегодня служил литургию накануне родительской субботы. Народу было мало, и я сразу увидел Андрея Агаркова, моего соседа по подвалу. Интересно, вспоминают ли подвальные свой подвал? Нас всех разметало... Андрей подошел и спросил: «Как мама?» — «Ушла». Он сразу сник... После встречи с ним нахлынули воспоминания: вспомнил отца Андрея дядю Мишу, фронтовика без одной ноги. Когда он умер, мы дали ему место на кладбище возле моей бабушки Ариши. Мама Андрея, тетя Тася, пропускала меня в кино в казармы... Сам Андрей работает на Чистых прудах и изредка заходит ко мне в храм. Некоторые люди заходят и уходят, потом возвращаются, что-то высматривают да не понимают, что «высматривают» Самого Господа...

Постараюсь завтра помянуть всех подвальных, многие из нашего дома ушли в жизнь вечную...

ШКОЛА

Первого сентября 1946 года нас выстроили рядами в школьном дворе. Я никого из ребят не знал тогда, но потом оказалось, что все они были из близлежащих бараков, деревянных домиков, а кое-кто из каменных. В школе учеба моя то шла, то не шла: я писал, решал, а за меня уже что-то решалось Господом. В пятом и шестом классе я сидел по два года, но мама никогда не ругала меня за двойки. Все как-то шло помимо моей воли, а внутри в душе что-то просыпалось и тянуло к духовной жизни.

Но учился я плохо, и меня перевели из 558-й в 28-ю школу для переростков, которую называли «школой дураков», что было несправедливо, потому что учились там ребята умные, просто переезжавшие с родителями из города в город, а потому переросшие сверстников. Дураков же, как я, там было очень мало. Помню, как учитель русского языка Иван Яковлевич, пожилой крепкий мужичок с большими кулаками, учуял на уроке, что кто-то курит (Басов, крупный парень лет семнадцати, сидя на первой парте, потягивал в рукав), и, прогуливаясь вдоль парт и что-то объясняя, он поравнялся с курякой и саданул его по лицу, а сам как ни в чем не бывало продолжал урок. Никто не пожаловался, все это приняли как должное.

Однажды Иван Яковлевич пришел к нам в подвал и пожаловался, что я плохо учусь, но при этом сказал маме: «Я переведу его в седьмой класс, хоть он и балбес». Мама его очень уважала и считала настоящим учителем, а мне говорила: «Сынок, ты никому не рассказывай, что учился в «школе дураков», а то тебя засмеют». Когда я священником стал, она удивлялась: «Ты смотри, в «школе дураков» учился, а теперь священник». Я-то, когда учился, считал, что мне там самое место, не случайно же я два раза на второй год оставался. Правда, потом плохие оценки помогли мне поступить в Семинарию, куда нехотя брали умных и образованных, а предпочитали дураков вроде меня.

Помню, как мама приходила с ночной смены, когда работала нянечкой в детской больнице. Ей надо было отдохнуть, и я шел на улицу, чтобы ей не мешать. Или придет, скажет: «Сегодня был хороший врач, можно было и вздремнуть». Мама уставала, но работу нянечки любила, и ее устраивало, что сутки она работала, а двое была дома, с нами, с больной мамой. А в гражданские праздники она сама напрашивалась работать: ставка была двойная. Я заходил к ней, но по-настоящему понял, как ей приходилось работать, когда я заболел и меня положили к ней в больницу. Она прибежала ко мне в палату, приносила жареную телятину с рынка, видно, кто-то сказал ей, что это помогает при плеврите. У меня и сейчас стоит перед глазами маленькая баночка с кусочками телятины. Правда, главный врач Софья Исааковна и так распорядилась, чтобы для меня отдельно готовили обед. Маму так любили за старательность и добросовестность, что для меня даже специально картошку жарили и суп в отдельной кастрюльке варили.

В тумбочке у меня лежали лекарства, но я принимал народные средства: делал из черного хлеба шарик, а в него закатывал черный, вонючий деготь, правда, медицинский (недавно остатки этого дегтя я обнаружил в одном из ящиков на маминой квартире — она хранила его еще с тех времен, все думала, что мне пригодится). Принимал три раза в день, и это меня вылечило. Помогла мамина любовь и молитва.

Мама знала уйму всяких прибауток, присказок и историй. Вот к примеру:

«Я иду, а она сидит, на меня глядит, глазищи вытаращила...

— Кто же это? Карась?

— Да не вчерась это было, а сегодня. Я иду, а она сидит, на меня глядит, глазищи вытаращила...

— Так, может, это была щука?

— Да нет, не щупал я ее, не щупал... Я иду, а она сидит, на меня глядит, глазищи вытаращила...

— Так, может, это был сом?

— Да нет, какой же сом, наяву это было. Я иду, а она сидит, на меня глядит, глазищи вытаращила...

— Так, может, это была лягушка?

— Вот, вот, она самая и есть. Я иду, а она сидит, на меня глядит, глазищи вытаращила...»

Летом я уезжал из Москвы в пионерский лагерь. Первый был в деревне Улиткино: мне было лет семь. Спали в избе, где было тепло и уютно. Помню, как мама приехала меня навестить. Когда она уезжала, я бежал за машиной, а как увидел, что она исчезает в дорожной пыли, горько заплакал. Но возвращался уже без слез — еще смеяться будут. Помню, как хотелось прошмыгнуть в здание, где крутили кино, — это был бывший храм, обезображенный до неузнаваемости, — и каждый раз что-то останавливало. Какая-то боль во мне мешала войти туда. Видно, храм, хоть и закрытый, а вразумлял меня. А в кино хотелось. Мальчишка же...

Маленький славный мальчик, голубоглазый, с ямочками на щеках... в коротеньких штанишках. Таким вижу себя во дворе, в летнем лагере, в какой-то деревне Улиткино... Потом на станции Зосимова пустынь... Здесь я уже в брючках. Брюки любил, а короткие штаны — нет.

Помню, правда смутно, как что-то выменивал на удочку. То ли пилотку, то ли бескозырку. Была у меня какая-то пилотка, а откуда взялась — не помню. Помню, ногу ржавым гвоздем разодрал, когда на забор полез. Икру порвал, кровь лила, в изоляторе лежал, из окна которого были видны яблони, груши в цвету, сирень. Вылезал в окно. Ругали меня.

Где она, эта деревня Улиткино? В какой стороне? И спросить теперь не у кого...

Потом был лагерь «Медсантруд» по Киевской дороге на станции Зосимова пустынь. Саму Зосимову пустынь я так и не увидел, расспрашивал у ребят постарше, кто мог из лагеря уходить, и мне сказали, что в пустыни все разрушено и, кажется, скотный двор. Мне хотелось узнать, кто такой Зосима, но даже поговорить об этом было не с кем, вокруг была одна пионерия. Я удивлялся, что название станции сохранили, несмотря на безбожное время. Ездил я в этот лагерь примерно с восьми до пятнадцати лет (с 1946 по 1953 год), иногда на два лагерных срока подряд. И только в 2001 году в книге «Монастыри Русской Православной Церкви» я нашел столь дорогую моей детской душе Зосимову пустынь: «Обитель основана преподобным Зосимой (Верховенским), в 1826 году монастырь получил статус общежительного монастыря с наименованием Троице-Одигитриевского. Все храмы в обители освящал святитель Филарет Московский».

В 1920 году обитель закрыли, монахини организовали сельхозартель, что позволяло выжить 200 насельникам. В 1928 году многие монахини были сосланы, но

службы еще продолжались до 1931 года. Последняя матушка, игуменья Афанасия (Лепешкина), погибла в ГУЛАГе. Вновь монастырь открыли в 2000 году; настоятельница — монахиня Елена (Конькова).

Так что мы отдыхали детьми возле святого места и хотя ничего об этом не знали, но само название станции Зосимова пустынь освящало все вокруг. Я думаю, преподобный всех нас берег, все мы были неразумные дети, да и взрослые были неразумными... Как много святые названия говорят нашему сердцу. Побольше бы таких названий на Руси. Преподобный отче Зосима, моли Бога о нас... и о тех, кто когда-то жил рядом с твоей обителью.

В этом лагере в Зосимовой пустыни я был активным участником художественной самодеятельности. Ставили «Снежную королеву», где я произносил несколько фраз. Был у меня там друг Юрка Хорьков, который научил меня танцевать падеграс, падеспань и еще какие-то бальные танцы. Мы с ним как-то на концерте «сбацали» яблочко, на нас были матроски и бескозырки, мы сначала танцевали, а потом садились на скамейку и изображали, что гребем веслами. За это на торжественной линейке мне вручили карандаши и альбом для рисования за подписью директора и старшего пионервожатого. Правда, тут возникла загвоздка, потому что я хоть и ездил в пионерский лагерь, но пионером никогда не был, а получать награду на линейке без галстука было, на взгляд начальства, нехорошо. Вызвала меня вожатая и говорит: «Слава, приезжает начальство из Москвы, вручение будет на торжественной линейке, а ты не пионер, возьми у кого-нибудь пионерский галстук, а потом отдашь». Я не стал ни у кого спрашивать, подошел к вешалке, снял чей-то галстук, попросил завязать его на мне, потому что сам не умел, вышел, получил свои карандаши и альбом... Согрешил. Уж очень хотелось награду получить. Я потом долго ее хранил.

О многом тяжело вспоминать. Мальчик-еврей, славный такой, спал у самой двери, и каждый, кто входил в палату, бил его подушкой по голове, а он от этих ударов становился как зачумленный. Каждого заставляли подойти и ударить, а не то, мол, тебе достанется. Не знаю каким чудом, но я в этом не участвовал. Однажды видел, как этого мальчика и еще одного парня били в лагерной бане, били и руками и шайками. Вступить я не мог, их много было, убежал и долго не мог в себя прийти.

Часто мы подряжались на кухню чистить картошку, за это нам давали в обед лишнюю котлетку. А когда мы ходили на прогулки, то пели «пионерские» песни: «Как по го-о-о-роду Одессе шел трамвай номер один, из трамва-а-а-ая вышел дядя, на носу-у-у вскочил волдырь...»

Трамваев тогда в Москве было много: «букашки» и «аннушки» ходили через Крымский мост, мимо храма, даже по Красной площади ходили трамваи. Двери в трамваях были не автоматические. Для того чтобы впрыгнуть в трамвай на ходу, нужно было со всей мочи бежать рядом с вагоном, потом схватиться за деревянные поручни, еще «поднажать» и запрыгнуть на подножку. Это считалось среди ребят шиком, который не раз оборачивался «пшиком»: кого-нибудь затягивало под трамвай. Так же нужно было уметь спрыгнуть с трамвая на ходу: держишься за поручни, а потом огромным скачком прыгаешь, руки отпускаешь и какое-то время бежишь по инерции рядом с вагоном. Пока руку не отпустил, тебя тоже может затянуть. Среди моих товарищей двое были без ноги: Толя Курбатов и Володя Дмитриенко. Оба очень от этого страдали, играли в футбол на протезах, и если кого задевали своей железной ногой, то тот падал как подкошенный.

Я тоже иногда впрыгивал в трамвай на ходу и спрыгивал с него, но быстро понял, что это опасно. Однажды повис на поручне: отцепиться боюсь и запрыгнуть нет сил. Когда же отцепился, то долго бежал рядом с вагоном и благодарил Бога за то, что меня не затянуло.

У всех бывает юность, и большинство ее проматывает... Кажется, что впереди уйма времени, можно и помотать. Многие так думают, так думал и я... и глубоко ошибался. Сам удивляюсь, неужели это было: бесцельные хождения по улицам в одиночку и с товарищами, пустые разговоры, болтовня, домино во дворе, игра в «пристеночек», в «казну» и в «женочку». Сшивали тряпичные лоскутки, а в середину комочка клали что-нибудь тяжелое, например кусочек свинца. Этот сшитый комочек должен был быть лохматым, чтобы тряпочки торчали во все стороны. Подбрасываешь, ловишь внутренней стороной стопы, где у ботинка изгиб, и опять подкидываешь — кто больше набьет. Даже у меня до двухсот раз получалось, аж дух захватывало. Почему игра называлась «женочка» — не знаю. Может, потому что говорят «жена не лапоть, с ноги не сбросишь»? Попробуй теперь разбери. И вот так каждый вечер до одури. И как гордились, когда набивали больше других.

Еще в фантики играли. Собирали на улице от конфет оберточка покрасивей, сворачивали конвертиком. Своих конфет у нас отродясь не было, вот и собирали. Садись за гладкий стол: ударяешь рукой о край стола, и твой фант летит на середину, другой делает то же самое, стараясь накрыть твой фант своим. Самыми шикарными считались фанты от «Мишек», потом шли «Цветы», «Тузики», «Ну-ка отними». Помню, как дрались из-за этих фантиков, даже воровали друг у друга.

Ну и футбол, конечно... Мячей не было, гоняли или сшитые тряпки, или консервные банки. Я частенько на воротах стоял, в армейской телогрейке с длинными рукавами.

Когда стал постарше, ходил по музеям, театрам, помню разные представления в парке, гулянья: стихи читали и слушали, слушали песни Окуджавы, старались на последние копейки достать входной билет в театр. Зато мы не пили и не курили, что правда, то правда. Этим не баловались. И с девушками тоже не гуляли. Мы же не могли ни мороженым их угостить, ни в кино сводить. Компания была исключительно мужская. По парку шлялись, стихи вслух читали «А вы б ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб» и «Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного не красив» и представляли себя не немного, а очень красивыми. Просто неотразимыми. «Голова ты моя удалая, до чего ж ты меня довела...»

Вот такая была моя юность, правда, я еще в церковь ходил... А так, все как есть — ни убавить, ни прибавить.

Еще мальчишкой мама хотела отдать меня митрополиту Николаю (Ярушевичу) в услужение, точнее, вообще в Церковь, и всех спрашивала, как это сделать. Тетя Липа, глубоко верующая старушка, сказала ей, что еще рано, ему только десять лет, а вот как исполнится двенадцать, можно будет.

Мама представляла это так: войдет она к нему в кабинет и скажет: «Батюшка (она не знала, что нужно говорить «владыко»), возьмите моего сына к себе, я хочу, чтобы он служил Христу и всегда был в Церкви».

В Лавру она первый раз меня повезла, когда мне было лет десять, и всю жизнь туда ездила. Самые счастливые минуты своей жизни она провела в Троице-Сергиевой лавре.

Примерно в 1946 году у моей крестной появился жилец Сережа Музыченко, студент медвуза, который готовился к поступлению в Духовную Семинарию. Позднее я узнал, что его дед был епископом, а отец — дьяконом. Этот Сережа меня зацепил за живое, попал своей верой в самое сердце. Я смотрел на него во все глаза: студент, молодой и... верующий. Бывало, зайду к нему и вижу: лежит на кровати, читает книгу «На запросы духа». Словарей у него было много. Стихи он любил. У меня сохранилась его тетрадочка с трогательным эпиграфом «Здесь все, что выстрадал в ночной тиши, здесь перлы лучшие со дна моей души». Мне он говорил: «В школе занимайся, школа нужна, но сам читай побольше, самообразовывайся, запишись в (не хочется мне писать это название) Государственную библиотеку». Я записался и очень удивился, когда увидел там в общем зале на открытых полках энциклопедию Брокгауза и Ефрона. Я просто сажился и выписывал в тетрадь все, что находил о вере, Церкви и Боге. Занимался я, двоечник и балбес, в огромном зале среди очень умных людей. Читал не только энциклопедии, но и словари: иностранных слов, латинских изречений. Этого мне тогда вполне хватало, к тому же религиозную литературу тогда получить было очень трудно, нужно было иметь специальное разрешение. Мне, например, не выдали даже «Журнал Московской Патриархии», спросили, для каких целей он мне нужен. Так я «самообразовывался»...

Мама как-то попросила Сережу написать «Верую», и он очень грамотно и красиво написал Символ веры на листочке, который у нас долго хранился. Однажды я увидел у него «Правила для поступления в Московскую Духовную Семинарию», отпечатанные на папиросной бумаге. А что если и мне попробовать поступить? Я понимал, какая пропасть была между Сережей и мной: он был образованный парень, а я так, недоучка. Я и в школе учился плохо, и был чудаковатый, замкнутый, очень стеснительный. Прочитал я эти «Правила», а там написано, что надо знать какие-то начальные молитвы, хорошо читать по-славянски и грамотно писать по-русски. Переписал я у Сережи молитвы, у дяди Коли попросил требник и стал учиться читать по-славянски. Требник был дореволюционный с молитвами об императорской фамилии: «Еще молимся о Государе нашем императоре Николае Александровиче и всем царствующем доме». От такой молитвы теплее становилось на душе и верилось, что не все потеряно для России. Я штурмовал требник с карандашом, а если слово мне было непонятно (я еще ничего не знал о титлах), то я обводил его карандашом и долго думал над ним, пока оно мне не открывалось. Учил молитвы наизусть: утренние, вечерние, псалмы, заповеди блаженства, десять заповедей, ходил, зубрил и боялся, что спросят вразбивку, когда я учил все подряд. Со всем этим соседствовал театр, который я бросить не мог и куда меня тянуло каждый день. Там была другая жизнь, яркая и необычная, и чудесные актеры: Ильинский, Кторов, Ливанов, Грибов, Тарасова.

Я чувствовал, как постепенно отделялся от своих сверстников, вырастал и отходил от них. Двор с ребятами ушел на второй план, я видел, что они меня не понимают: в храм почти никто из них не ходил, в театр тоже. А я потихонечку подбирался к Семинарии, уже чувствуя в себе новое состояние, из которого не хотелось выходить.

Потом нашлись ребята, которые стали со мной ходить в театр: сначала Юрка Соболев, а потом Димка и Колька. Я спорил с ними, защищал Бога и Церковь, стоял на своем, и сбить меня они не могли. Я смеялся, шутил, пел с ними песни: «Клен ты мой

опавший...», «А ну, швейцары, отворите двери...», а душой был уже далеко, в стенах Семинарии, куда я стремился, «как олень на источники водные». Мама радовалась детской радостью: ее сын вон что задумал, вон куда замахнулся... И молилась, молилась, просила Бога о помощи. Ей, наверное, просто не верилось: я рос без отца, она была простой уборщицей, бабушка крестиком расписывалась. Семинария в нашей семье казалась какой-то недостижимой высотой. Я сам мало верил в успех: способностями не отличался, одно только во мне было — тяга к духовному чтению, которое меня заглатывало, захлестывало так, что я не мог оторваться и постепенно чувствовал, что становлюсь другим. Очень боялся, что не поступлю в Семинарию, не знал, как буду жить дальше. Ничем другим я заниматься не хотел. Я прилепился к Церкви так, что не оторвешь, а позднее — и к людям, которые за эту Церковь готовы были голову сложить.

Времена-то были не теперешние, много стояло на пути к священству преград, насмешек и страха. Верить в Бога, ходить в храм, — значит, неблагонадежен по отношению к советской власти, и везде тебе будут ставить препоны. Священнического пути я тогда не понимал, знал только, что это и тюрьмой могло грозить, и еще чем похуже. Работа против верующих велась на всех уровнях, но мы с мамой все равно решили, что я поеду поступать в Семинарию, так сильно мы верили в Бога и в Его заступничество.

Однажды в Лавре к нам подошел паренек и спросил:

— Вы не знаете, как пройти в канцелярию?

— А зачем тебе?

— Взять «Правила для поступающих в Духовную Семинарию».

Я тоже решил пойти с ним (вдруг что-то в правилах изменилось?). Паренек оказался из Тушина, с Трикотажки, это был будущий священник Вячеслав Юхновский. Он жил тогда с мамой, которая запрещала ему ходить в церковь, но втайне от нее ездил на Сокол, где прислуживал у отца Михаила Голунова. Слава стал ездить к нам в Хамовники в гости и на акафист к Споручнице, где он стоял у самой иконы и следил за порядком, так как давка была ужасная. В день похорон моей бабушки Слава нес ее гроб до самой могилы. Мы ему и сообщить не успели о смерти бабушки, как он сам приехал. «Места себе не находил, — говорит, — прямо голос какой-то шепчет, что надо ехать к Славе в Хамовники».

Печально, что бабушка не дожила до моего поступления в Семинарию, но ушла она в вечность, зная, что я решил стать священником, и хоронили ее два будущих батюшки: два Славы.

Семинария грезилась мне, притягивала, как магнит. Собирал документы: справку о крещении заверяли в домоуправлении: соседи и крестная заверяли, что я крещеный, а домоуправ подписывал и ставил печать. Болезнь легких отступила: рентген соврал, Господь на минуточку болезнь отвел в сторону, и она отошла, а что ей оставалось делать, против Господа-то она бессильна. В справке было написано: «Здоров поступающий в Духовную Семинарию». Затем я получил рекомендацию отца Павла Лепехина, приложил к ней аттестат с тройками и поехал в Лавру...

У ПРЕПОДОБНОГО

В Семинарию мы приехали поступать со Славой Юхновским: длинный коридор на первом этаже и проходная комната, в которой нас поселили. Начали сдавать экзамены... Был там в то время воспитатель Анатолий Петрович Горбачев — высокий, солидный, с большим пузом. Как-то Слава шутя замахнулся на кого-то подушкой, а воспитатель тут как тут: «Ваша фамилия?» И Славу попросили удалиться из Семинарии. Я очень переживал: ведь вместе приехали и как-то уже сроднились.

Вступительные экзамены проходили с первого по десятое сентября. Я все молился Преподобному: стою на коленочках, лбом в пол, и голову поднять боюсь: «Преподобный отче Сергие, возьми меня в число твоих учеников!»

Большой зал на третьем этаже, а у дверей толпа в сто двадцать человек, из которых примут только сорок. Вызывают по одному, захожу, крещусь, передо мной длинный стол, за ним преподаватели, профессора, ректор. Спрашивают, откуда я, с кем живу, дают славянский текст, справляюсь с волнением и читаю... Останавливают: «А вы что же на ударения не смотрите?» По правде говоря, я на ударения никакого внимания не обращал, когда готовился.

- Сколько классов окончили?
- Семь.
- А что же у вас одни тройки?
- Почему же, там и четверка есть.
- Но это ведь по истории.
- А здесь как раз история и нужна.
- Все рассмеялись.
- А кто вам давал рекомендацию?

Я замешкался, потому что не знал фамилии отца Павла, настоятеля Хамовнического храма, который рекомендовал меня для поступления. Но кто-то из комиссии опередил меня:

- Отец Павел Лепехин.
- Отец Павел Лепехин?!

Что-то очень почтительное прозвучало в этом невольном вырвавшемся возгласе, и я как-то сразу понял, что меня примут независимо от того, как я сдам экзамены. (Позднее я узнал, что отец Павел был в очень хороших отношениях с Патриархом Алексием I и пользовался большим уважением среди священников).

А потом я пел, а какой-то старичок нажимал на клавиши: «Ну давайте: до-о-о-о, с-о-о-ль, «Царю Небесный». Я так и не понял, понравился я ему или нет. Изложение я вроде написал хорошо. Читал я много и писал грамотно.

Затем была медицинская комиссия, которой я боялся пуще всего. Боялись и другие: один из поступающих (сейчас известный протоиерей) вышел в коридор, вынул из военного билета листок с «сердечной статьей», которая могла ему помешать поступить в Семинарию, попросил у одного из ребят лист с «проходным» диагнозом, вставил в свой билет и... закончил не только Семинарию, но и Академию.

После экзаменов нас собрали в большой аудитории на третьем этаже: вошел преподаватель, мы встали. Я стою у последнего столика, со мной рядом Витя Волков из

Владивостока. Зачитывают: «Ведерников, Винокуров... ВИННИКОВ!» Меня будто стрелой пронзило: принят, принят! И сразу как-то легко стало, слышу: «Волков» — и жму Витину руку, впился в нее, а он стоит, улыбается. Шум поднялся, все загалдели, одни собираются домой, другие — к Преподобному, я в их числе...

Мама тем временем во дворе стояла, увидела троих ребят и спрашивает:

— Вы не скажете, Винников Слава, такой высокий, худой, принят?

Один говорит:

— Нет, не принят.

А другой:

— Да что ты ерунду говоришь? Длинный такой, худощавый? Конечно, принят. Вы идите, его там позовут.

И как только я сподобился такого чуда — оказаться в святом месте, в Лавре, в Духовной школе, я, подвальный Славка, худющий и длинный, учившийся в «школе дураков», не умевший решать простые задачки. Держу в руках небольшие тетрадные листочки, письма, что я писал из Семинарии маме, и вспоминаю. А за окном сад, вдалеке — «березы стоят, как большие свечи» и горят неземным пламенем, Сам Господь зажигает в них небесный нетварный свет. «Люблю, когда на деревьях огонь зеленый шевелится...»

Многие из знакомых и соседей не поняли и не приняли моего выбора. Кто за дурака меня считал, кто за врага. В доме, когда узнали, что я поступил в Семинарию, то спрашивали: «Ленка, да ты что, зачем ты его туда отдала на попу учиться?» Ребятам это тоже было непонятно, и они на меня смотрели с удивлением, насмешкой или с жалостью. Был, мол, Славка, с которым бегали и играли, и вдруг... «поп», хотя до попа было еще очень далеко. Почему-то все сразу решили, что у меня теперь много денег, а я получал стипендию 13 рублей, только на карманные расходы, потому что находился на полном семинарском обеспечении. И стали у меня занимать деньги: дай рупь, дай рупь с полтиной, в основном на «четвертинку», и почти никогда не отдавали. Наконец мне это надоело, и я перестал давать, говорил, что денег у меня нет, что стипендия очень маленькая... и кое-как отвертелся. Многие, наверное, думали, что я из-за денег в Семинарию пошел, а у меня часто не было даже на электричку. По тем временам билет стоил 53 копейки, а штраф был три рубля. Сидишь, бывало, и высматриваешь контролера, видишь, что идет, вскакиваешь и бежишь в другой вагон, на следующей остановке выскакиваешь и бежишь в тот вагон, который он уже проверил. Соберет контролер семинаристов в тамбуре: давайте, говорит, насобирайте три рубля — и после этого отпускал. Стыдно, конечно, бывало, что мы, семинаристы (нашу форму все на этой дороге знали), едем без билета, но делать было нечего.

В Лавру на семинаристов приезжали смотреть из-за забора, как в зоопарк на невиданных зверей. Вечером из Лавры старались не выходить: местные загорские могли избить. Да только ничто не могло омрачить моей радости: я семинарист, семинарист, и мама была на седьмом небе от счастья.

После зачисления в Семинарию был отслужен молебен у преподобного Сергия, мы все, счастливые, гуськом шли его благодарить. Отныне каждое утро я просыпался в чертогах Елизаветы Петровны, а мыслями уже бежал к Преподобному, одевался и скорее к нему, на молитву и под благословение. А у Преподобного тишина, в благодатном полумраке свечи горят, у изголовья святых мощей батюшка стоит, хор поет... Мама часами тут простаивала, я всегда удивлялся, откуда она силы брала:

маленькая, худенькая, слабенькая, а какая в ней духовная сила. Она все могла преодолеть: и длинные службы, и дальние поездки, только бы доехать туда, куда душа зовет, и помолиться. Особенно она любила молиться у Преподобного.

Утро в Семинарии и в Академии начиналось с молитвы у Преподобного, у которого все получали благословение на предстоящий день. Потом был завтрак, утренние занятия, обед, вечерние занятия, вечерние молитвы в академическом храме. Оставалось время для прогулок в академическом садике и для сна. Перед едой читали «Отче наш», а после — «Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко да насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия...» Эти слова молитвы всегда кто-нибудь обыгрывал: «Ишь, чего захотел, чтобы и здесь чрево набить, и Царствие Божие получить?!»

После зачисления нас повели в подвал, где каждый должен был выбрать для себя китель и брюки из того, что осталось от прежних семинаристов. Я долго не мог выбрать китель, так как был худющим, а выглядеть хотел солидным, с широкими плечами. Помню, что под китель я поддевал свитер, и все равно он был мне великоват. А брюки все были блестящие от долгого сидения наших предшественников. Но все равно мы радовались форме, о новой даже не мечтали, эта была родной, своей.

Для меня все в Лавре было свято, я перед всем благоговел: стены, коридоры, лестницы, конспекты, парты, стулья — все было се-ми-нар-ско-е и все было связано со святым именем Сергия. Все было освящено Преподобным: он незримо жил среди нас, сидел с нами на занятиях, обедал в столовой, гулял по лаврским аллеям, был в храме в алтаре, не оставлял нас и когда мы уезжали в Москву. Весь воздух был пропитан им, и в этом воздухе всегда жила молитва, которая раздавалась во время молебна на лаврской площади: «Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас!» Как вспомню Лавру, сразу становлюсь другим — молоденьким мальчишкой в семинарской форме, бегущим утром к его мощам за благословением на предстоящий день. А он взял и благословил меня на всю дальнейшую жизнь, на служение в Церкви, вот почему так дорог мне родной преподобный Сергий!

Утренние занятия были с переменами и чем-то напоминали школу. Преподавали нам даже Советскую Конституцию. Преподавателя, профессора Ивана Никитича Щебатина, как-то спросили: «А кто делал революцию?» Он почесал в затылке и изрек: «Тюха, Матюха да Колупай с братом» — всех рассмешил. Позднее, работая в Издательском отделе Патриархии, я побывал у Ивана Никитича дома и увидел на столе пишущую машинку и... бюст Ленина(?!). Знали, видно, кому поручали преподавать «великую сталинскую Конституцию».

Любимым преподавателем у меня, как и у многих, был отец Тихон Агриков, тихий, спокойный. Он преподавал Священную историю Ветхого Завета и перед занятиями обратился к нам с таким словом: «Всегда помните этот день, когда вы вступили в Духовную школу, и старайтесь это чувство и настроение сохранить на все время учебы». Он очень любил служить и в течение тридцати лет каждый день совершал литургию. Однажды я стал невольным свидетелем того, как на улице отца Тихона окружили нищие, похоже, поджидавшие его: не глядя, он вынимал из кармана рясы крупные купюры и одаривал просящих. Но, видно, своим нестяжанием, своей духовностью он кому-то не понравился, и его вскоре убрали из Семинарии и из Лавры. Была разыграна отвратительная сцена: когда отец Тихон шел в монашеский корпус, на

него с крыши сторожки спрыгнула женщина. Из этого раздули историю, и отца Тихона уволили. Потом он ушел в затвор в один из монастырей на Кавказе и написал книгу воспоминаний. Долго о нем ничего не было слышно, а потом я узнал, что он служил всенощную в селе Тайнинском под Москвой, произнес «Слава тебе, показавшему нам Свет!» и тихо отошел ко Господу. Праведная жизнь — праведная и кончина. А незадолго до этого он принял схиму и ушел от нас схиархимандритом Пантелеимоном.

Среди нас было много украинцев, потому, вероятно, что украинцем был ректор протоиерей Константин Ружицкий. Иногда часов в шесть вечера несколько украинцев незаметно исчезали из класса, где мы делали уроки. Тогда мой товарищ Витя Волков довольно громко говорил: «Слав, ты знаешь, я в спальне книжку оставил в чемодане, надо пойти взять». Я поднимался, и мы шли вниз в спальню, а по дороге Витя открывал мне тайну оставленной книги: украинцы шли есть сало с чесноком. Мы заходили в спальню, лезли в свои чемоданы за «оставленными» книгами, и если в ребятах оставалась хоть капля совести, то слышали: «Волков, Винников, хотите сальца?» — и получали по небольшому кусочку. Но часто все бывало по-другому: сколько мы ни рылись в своих чемоданах в поисках книг, нам доставался только запах чеснока и украинского сала.

На соседней койке в Семинарии спал Всеволод Ермаков, добродушный парень, просто и глубоко веровавший в Бога. Учеба ему не давалась, но он улыбался и говорил: «Учеба не по мне, ничего у меня не получается». Как-то ему прислали запеченную курицу, он ее достал и говорит: «Угощайтесь, ребята». Ну мы и «угостились», да так, что ему ничего, даже косточки, не досталось. Он же сидел и улыбался, глядя на нас. Потом Сева исчез из Семинарии, а объявился несколько лет спустя в Издательском отделе, где я работал. Открывается дверь, и заходит Всеволод, в подряснике, в сапогах, мы сразу друг друга узнали:

— Сева, где же ты теперь?

— Я на Кавказе, живу в горах у отшельника, приехал хлопотать за свою сестру, чтобы ее в монастырь взяли. Владыка Питирим меня знает, может, поможет.

Он нашел себя в монашестве.

Витя Волков в армии был поваром и очень хорошо умел жарить картошку. Мы быстро подружились, он навещал нас в подвале, а с его легкой руки к нам стали приезжать духовные лица из Сибири: епископ Омский и Тюменский Венедикт (Пляскин), протодьякон Арсений Дядю, протодьякон Борис Бухтатов, архиепископ Вениамин (Новицкий), преподаватель Семинарии Анатолий Просфирнин, секретарь епархиального омского управления с сестрами.

Латынь нам преподавал некто Лебедев, которого за глаза звали Amicus. Как-то я решил подшутить над моим товарищем Юрой Рзяниным (который был из Моршанска и на вопрос, чем Моршанск отличается от Москвы, всегда отвечал: «Там фонари пониже и асфальт пожире») и посоветовал ему: «Будешь здороваться с преподавателем латыни, приветствуй его словами «quo vadis». Он так и сделал, а Amicus ему в ответ: «Куда хочу, туда и иду». «Quo Vadis» — это название романа Сенкевича «Камо грядеши», которым мы тогда в Семинарии зачитывались.

В Семинарии я подружился с Дмитрием Дудко, он был очень милый, с востреньким носиком, как старец Зосима у Достоевского, небольшого роста, но с большой лысиной, говорил быстро-быстро, был умный, начитанный, хорошо знал литературу, с тонким чувством юмора, очень интересный собеседник. Не знаю, каким я, восемнадцатилетний

юнец, казался ему, уже тогда отсидевшему семь лет за веру. Его взяли с первого курса Академии, что-то, видно, сказал неподобающее о власти предержащей, а на него стукнули. Вечерами мы ходили с ним по дорожкам академического садика и разговаривали. Я был его постоянным собеседником и очень привык к нему, а некоторые его побаивались: судимый студент, лучше, мол, держаться от него подальше. Мама называла нас Пат и Паташон: один длинный и худой, а другой маленький, лысый и... очень умный. Я любил наши вечерние прогулки: Дима много говорил о Достоевском, о Владимире Соловьеве; я тогда ни «Братьев Карамазовых», ни «Бесов», ни «Краткой повести об Антихристе» еще не читал, а потому говорил Дима, а я только слушал. Как-то он сказал: «На улице Горького появился двухтомник Достоевского «Братья Карамазовы», не пожалей денег и купи.» Этот двухтомник и сейчас у меня на книжной полке стоит: я «Братьев Карамазовых», наверное, раз десять прочитал, столько же — «Бесов», но больше всего — «Преступление и наказание».

В Семинарию я поступил со школьной скамьи. До поступления я, конечно, знал, что Церковь гонима, но только за годы учения в Семинарии я осознал, насколько Церковь пронизана безбожной властью и разрушаема ею изнутри. Открыто на эту тему в Семинарии говорить было нельзя, я делился в основном с Дмитрием Дудко, которого видел в ореоле мученика. Все наши разговоры на вечерних прогулках в академическом садике (если к нам никто не подходил) были о положении в Церкви, о пришествии Антихриста. Я скоро понял, что как среди преподавателей, так и среди студентов были стукачи. Любое неосторожное слово могло привести к непредсказуемым последствиям.

Помню, как-то в чертогах Академии праздновали Рождество: звучали выступления, церковные песнопения. Вдруг Дима мне говорит: «А я им прочту «Прозаседавшихся» Маяковского». Это был его намек на то, что в Академии тоже было много болтовни и пустых разговоров. Он вышел и звенящим дискантом выкрикнул стихотворение. Маленький, куда-то рвущийся, похожий на взъерошенного воробышка, он стоял под елкой и декламировал Маяковского. На память от Димы мне осталась его фотография: он стоит под Рождественской елкой, под самыми игрушками, а на обороте подпись: «Карлику-великану Славе от великана-карлика Димы, будь всегда маленьким ребенком, жизнерадостным, и никогда не унывай». Надпись напоминает мне о смешном эпизоде из нашей дружбы: третий этаж учебного корпуса, никого нет, мы одни. «Давай, — говорит, — я сяду к тебе, Славка, на закорки и посмотрим, сколько шагов ты меня пронесешь. А потом я тебя». Забрался на меня, и я его понес. Настала его очередь меня везти, залез я ему на спину, ноги у меня волочатся по полу, потому что я выше его чуть ли не вдвое. Поднатужился он и везет... Вдруг с лестницы показывается инспектор, милейший и всеми любимый архимандрит Леонид (Поляков). Увидел нас и изрек, покачивая головой: «Старый осел молодого везет». Мы очень смутились, а в глазах отца Леонида мелькнули веселые искорки... Все обошлось.

Смех и грех — отец Дмитрий сейчас писатель, признанный духовник и проповедник, а в те годы я на нем верхом по коридору ехал... И он меня действительно «вывез» к духовному сану, помог мне определиться в духовном отношении на пути к пастырству. К тому же он часто проверял у меня сочинения и делал необходимую правку. Однажды в сочинении «Категорический императив Иммануила Канта как основа нравственности» я везде написал «категарический», за что получил «четыре с плюсом». Оценку снизили незначительно, потому что содержание очень понравилось отцу ректору.

Когда меня вызвали в военкомат, Дима сказал: «Будь осторожен: в красном здании, куда тебя вызывают, могут завербовать в стукачи». Я пошел и старался помнить его слова, чтобы не попасться на удочку, но все обошлось.

Познакомился я в Семинарии и еще с одним замечательным человеком — Глебом Якуниным. Тогда это имя никому ничего не говорило. Помню коридор в учебном корпусе, а по нему проходит невысокий молодой человек с огненно-рыжей шевелюрой под «политический» зачес, и кто-то мне говорит: «Глеб Якунин, окончил биологический...» В то время люди с высшим образованием вызывали восхищение. По прошествии какого-то времени слышу: «Отчислен за несоответствие духу школы». Потом я узнал, в чем выражалось это несоответствие. КГБ время от времени просматривало фонды академической библиотеки и что-нибудь изымало оттуда, например книги Бердяева, Булгакова, Ильина. На карточке Глеба Якунина числилась «Философия свободы» Бердяева. Его позвал библиотекарь и попросил вернуть книгу. Глеб догадался, «кому» вернуть, и сказал, что он книгу потерял и оплатит ее стоимость. Там тоже поняли, что это за «потерял», и академическое начальство отчислило Глеба из Семинарии за несоответствие духу школы. Так на протяжении всей жизни его и «отчисляли» отовсюду за несоответствие духу сначала сталинской, потом хрущевско-брежневской Московской Патриархии. Никому дух отца Глеба — дух мученика, героя и защитника — не соответствовал, ни Духовной школе, ни Самой Церкви. И даже сейчас нет-нет да и мелькнет, например, в интервью митрополита Питирима (Нечаева): «А, Глеб Якунин, так он обыкновенный воришка, в Семинарии книгу украл...» Знает, значит, митрополит историю про книгу, да и философия свободы Глеба Якунина ему известна.

Архимандрит Леонид (Поляков), бывший майор медицинской службы, человек добрый, духовный и с хорошим чувством юмора, преподавал нам Гомилетику, науку о красноречии, проповедничестве и всех нас называл отцами: отец Виктор Волков, отец Николай Радул, отец Вячеслав Винников... И правда, мы все стали потом отцами. А в неделю о блудном сыне он всех нас поздравлял с Днем Ангела. Однажды он вынужден был «поздравлять» нас с годовщиной «Великой Октябрьской социалистической революции», ходил между столами и отдельно, четко произносил «великой», помолчит: «октябрьской», а я гляжу на него во все глаза и вижу в его лице совсем другое, глаза его смеялись и выдавали его с головой, в них не было никакой «великой», там была горькая насмешка, голос и интонация звучали полной противоположностью словам. Мало кто из ребят понял тогда отца Леонида, только Дима Дудко хитро щурился и улыбался глазами, он-то на себе испытал «величие» революции, и кому как не ему было понять «поздравительную» речь инспектора. Я потом маме пытался в лицах пересказать речь инспектора, она смеялась и радовалась, что в Семинарии есть такие настоящие, глубоко верующие преподаватели.

По выходным дням и праздникам я мог уезжать из Семинарии домой, для чего нужно было подавать прошение на имя инспектора и указывать причину отъезда. Подхожу как-то к отцу Леониду в коридоре с прошением:

- Подпишите, пожалуйста.
- Что тебе подписать?
- Прощение о поездке домой.

— А ты что, забыл, где ты учишься? В закрытом учебном заведении, и я тебе ничего подписывать не буду.

— Подпишите, мне очень нужно.

И так я шел за ним длинными семинарскими коридорами, поднимался по этажам, его кто-то останавливал, а я стоял, ждал и все канючил: «Отпустите...», подошел к дверям его кабинета, он достает ключ, оглядывается:

— А ты что здесь, чего тебе нужно?

Я его вначале не понял, думаю, как чего, целых полчаса за ним иду и прошу, а он как будто только что меня увидел: «Чего тебе нужно?» Тут только я догадался, что он меня разыгрывает.

— Да вот прошение.

— Ну так что?

— Вы не подписываете.

— Я?

— Ну конечно вы.

— Да ты что, ну-ка давай его сюда, становись спиной.

Положил прошение мне на спину и подписал.

— Складывай руки для благословения.

Я сложил, он кладет мне на ладони свою благословляющую руку и я чувствую, что-то еще мне на ладошки кладется, а он поворачивается и уходит в свой кабинет. Смотрю: деньги, да в три раза больше, чем моя стипендия!

На последнем курсе я тяжело заболел, попал в больницу, после которой мне нужно было долечиваться в санатории. Денег на путевку не было, и кто-то мне посоветовал написать прошение на имя ректора протоиерея Константина Ружицкого. Тот мне ответил, что «ректорский фонд не позволяет» заплатить двести рублей за мою путевку и ничего не дал. Я пришел к архимандриту Леониду, рассказал ему все, он взял мое прошение и... подписал.

У архимандрита Леонида были сложные отношения с ректором: они были очень разными людьми, что особенно проявлялось в праздновании Дня Ангела. Отец ректор в свой День Ангела всем покупал... по мороженому, а в День Ангела отца инспектора подавали замечательный обед, на столе были фрукты, газированная вода. И все-таки отец ректор «подсидел» отца Инспектора и «сплавил» его во епископы. Видимо, никак не получалось убрать его из Семинарии, кроме как через повышение. В результате мы лишились душевного человека и любимого наставника. Я переписывался с владыкой Леонидом до конца его жизни. Умер он митрополитом Рижским и Латвийским, и пока я живу — вечный ему от меня поклон и молитва!

Несколько раз в месяц нам показывали кино. Пузом вперед в класс входил солидный Анатолий Петрович Горбачев и изрекал: «Фильм итальянский «Нет мира под оливами», все должны спуститься в кинозал. Приду проверю». И степенно уходил.

Смешно и грустно было смотреть на нашего иеромонаха Антония (Вакорика), иеродиакона Назария (Максина) и послушника Ивана Дежко, да и остальным было несладко. Я не могу сказать, что в кино не ходил, но по пути в кинозал старался свернуть куда-нибудь в сторону. Нехорошо было на душе оттого, что в Лавре у Преподобного показывают и смотрят кино. Не всегда удавалось избежать этого зрелища. В зале сидели вместе с преподавателями. Отец Назарий (Максин) сидел с низко опущенной головой и что-то шептал в свою длинную бороду. На него было жалко смотреть: в Лавру он приехал из монастыря, и вот на тебе: вместо молитвы сиди и смотри «Нет мира под оливами» или «Тахир и Зухра», где влюбляются, ревнуют и

дерутся. Некоторые из зала тихонько убегали и прятались в спальнях и коридорах, но преподаватели выдерживали до конца. Среди них были люди как духовные, так и светские. Особенно трудно приходилось монашествующим: сидят томятся в длинных рясах и клобуках. Ректор отец Константин Ружицкий, правда, кино смотрел с удовольствием. Чей это был указ? Сверху ли получали установку для обязательного просмотра или сами хотели показать миру, что ничто человеческое нам не чуждо? Так до сегодняшнего дня не знаю, для чего над нами проводили такие эксперименты.

Андрей Вознесенский писал о монахах: «Уткнувши носы сизые и подоткнувши рясы, // Кто смотрит телевизоры, кто просто точит ляды». Кино нас действительно заставляли смотреть, но телевизоров в кельях не было. Когда после Пимена (будущего Патриарха) наместником Лавры стал наш соклассник архимандрит Платон (Лобанков), то монахи увидели над его кельей телевизионную антенну. Трое из них под покровом темноты забрались наверх и свернули антенне шею. Наместник дознался, кто это сделал, и всех троих из Лавры выгнал.

Интересно, а сегодня семинаристам показывают кино? Может, теперь боевики американские показывают? Нет, нет... Это уже моя фантазия. Я думаю, те времена не вернуться... Верю, что «кина уже не будет. Кинщик заболел!» А вы как думаете: правда заболел или притворяется?! А?

В Семинарии мне особенно запомнились вечерние молитвы. Все, словно ручейки, стекаются в полутемный академический храм, на амвоне — батюшка из учащихся, мы встаем на привычные места, в конце храма у стеночки — преподаватели. Если приезжал Патриарх Алексий (Симанский), то назначали очень хорошего чтеца, чаще всего Владимира Рожкова, будущего настоятеля Николо-Кузнецкого храма «Утоли моя печали». Каждый вечер кто-нибудь из слушателей Семинарии или Академии произносил проповедь, обычно очень волнуясь. Хорошо было молиться, тихо и благодатно... Потом тихонько расходились по спальням.

У меня в Семинарии было послушание — прислуживать в храме. За это мне даже доплачивали. Мама часто приезжала на службы, и в будни, и в праздники. В храме я просто ног под собой не чуял от счастья: в семинарском кителе, в стихаре, хожу с тарелкой, выхожу со свечой или стою пою в десятке, а сам не слышу, что пою, просто дую куда попало, а регент ворчит: «Перестань, лучше помолчи». В хоре я всегда смущался, стыдно было, что не могу попасть в тон, а петь очень хотелось.

Старшим в алтаре был Сережа Лаврентьев, который делил священников на батюшек и попов: если добрый, то батюшка, а если жадный, как отец ректор, то поп.

Как-то, будучи в Москве у мамы, я зашел помолиться в Новодевичий монастырь и увидел там дьякона Василия Моисеева из Семинарии, который тут же пригласил меня в алтарь и познакомил с настоятелем отцом Николаем Никольским. Так я стал по воскресеньям и праздникам прислуживать в Успенском соборе монастыря, где служил епископ Пимен (Извеков), будущий Патриарх. Я у него стоял с посохом. Он очень сердился, если посох подхватывали не вовремя, можно было и по зубам получить, когда руку его целуешь.

В 1957 году в Москве проводился Всемирный фестиваль молодежи. Митрополит Николай (Ярушевич) наставлял академическое начальство, а они — нас. Задолго до фестиваля ректор, преподаватели и воспитатели стали собирать нас в зале и инструктировать, как вести себя во время встречи с христианской молодежью Запада,

как отвечать на вопросы о положении Церкви, верующих. Советовали по возможности вовсе избегать общения, а если все-таки придется отвечать на вопросы, то говорить, что Церковь свободна, никаких гонений против христиан не было и нет. Во время такого «натаскивания» студенты как-то не выдержали и в ответ на очередную ложь застучали ногами, засвистели и заулюлюкали. Дима Дудко что-то кричал, а я сидел рядом и старался от него не отставать. Встал бледный, с трясущимися губами, ректор и дрожащим голосом произнес: «Вы понимаете, чем это может кончиться, вы понимаете, что вы делаете?» Наступила гробовая тишина, вечер «натаскивания» продолжался. Такой открытый протест в Семинарии я видел впервые. Слава Богу, никого не отчислили.

В назначенный день приехали семь автобусов с иностранцами. В академическом саду были расставлены столики, бутылки с водой, бутерброды, булочки, яблоки. У каждого столика стоял учащийся, специально, чтобы угощать гостей фруктовой водой и ложью. Меня остановили двое у Успенского собора: ду ю спик инглиш, шпрехен зи дойч, — я им ответил, что я не шпрехаю, и они отошли. Всех гостей собрали в трапезном храме, и перед ними выступали отец Ректор и наместник монастыря архимандрит Пимен. Мы с Володией Диваковым стояли у дверей храма и слышали, как один из гостей сказал другому: «Красная пропаганда, что там слушать».

А в Москве в это время все бурлило и ликовало: участников фестиваля возили в открытых грузовиках по улицам, они протягивали руки и что-то радостно кричали. Я стоял в толпе на Крымском мосту и смотрел им вслед. Мост был весь облеплен людьми, некоторые забирались наверх и свисали оттуда, как гирлянды. Москвичи наконец могли посмотреть на иностранцев. Маме особенно понравились негры с их белозубыми улыбками.

В то время в конце 50-х началось отпадение от веры довольно многих семинаристов и священников: среди них были Алексей Чертков, Павел Дарманский, Александр Осипов, Евграф Дулуман. На каждом этаже Академии стояли мусорные ящики, и в них можно было видеть разорванные или целые пятикопеечные брошюры отрекшихся от Христа. Ничего серьезного в этих писульках не было. Да и что они могли предъявить верующему сердцу, откликнувшемуся на зов Спасителя и пришедшему учиться в Духовную школу? Ведь они-то откликнулись не на зов Спасителя Христа, а на зов Антихриста. Разве иуды были когда-нибудь почитаемы в народе? Печально и больно было только оттого, что они своим отречением могли смутить верующих. Конечно, это делалось под давлением атеистической власти. Видно, по комсомольским путевкам они пришли в Семинарию или какими-либо другими путями, одному Антихристу известными. По свидетельству М.В. Шкаровского, таких отступников было около двухсот. Среди них священник П. Дарманский, которому отец Сергей Желудков написал открытое письмо со словами: «Можно потерять веру, иногда это бывает нужно по ходу нашего духовного развития, но никогда, никогда не станет человек оплевывать и публично поносить то, что действительно было его святыней. А вы это сделали (...). Черта заведомой безнаказанности в вашей ругани против безмолвствующей Церкви была особенно отвратительна».

Один из отрекшихся священников, Алексей Чертков, пошел работать в планетарий. Как-то он написал в местком заявление с просьбой о материальной помощи. На заседании месткома было решено выплатить ему... тридцать рублей — ровно столько, сколько сребреников получил Иуда за предательство Христа.

Ходило по рукам анонимное стихотворение «Новый Иуда», направленное против другого отступника — бывшего преподавателя Саратовской Семинарии Е. Дулумана:

*Первый Иуда, предавший Христа,
Чувствовал — совесть его нечиста.
Мучился точно в кипящем котле
И успокоился только в петле.*

*У Дулумана иная сноровка:
Совести нет, не нужна и веревка.
Был бы лишь туго набитый карман...
Умер духовно Евграф Дулуман.*

Благочинным академического храма был священник Константин Шве́ц, плотный кругленький батюшка, к которому я часто подходил под благословение. Как-то после окончания Семинарии я подошел в Москве к стенду с «Комсомольской правдой» и увидел большую статью за его подписью «Почему я порвал с религией». Запомнились строки: «Все причащаются из одной чаши, могут заразиться». Прочитал я и подумал: «Какой у тебя был упитанный, цветущий вид после многих лет причащения, а будучи дьяконом, ты не только причащался, но и потреблял оставшиеся в Чаше Святые Дары. И Господь дал тебе отменное здоровье, никакая зараза к тебе не приставала, а вот теперь ты уж точно заразился ... неверием, и сколько с этой заразой проживешь — неизвестно».

Отрекся от Бога и профессор Петербургской (тогда, прости Господи, Ленинградской) академии Осипов: он и по телевидению выступал, и в газетах, и книжонки выпускал. Мы пошли за разъяснением к преподавателю сектоведения, профессору отцу Иоанну Козлову, который знал Осипова по Академии. Отец Иоанн нам рассказал, что до войны Осипов жил в Эстонии и пописывал антисоветские статейки. Позднее, во время кампании по отречению от Бога, его вызвали в органы и напомнили о «темном» прошлом, пригрозив, что, если он публично не отречется от Бога, его посадят в тюрьму за антисоветскую деятельность. Он сделал свой выбор. Но безбожники здесь просчитались: мало кто из атеистов с уважением относился к отступникам. «Неверующие, — писал отец Сергей Желудков, — осудят эту пропаганду подлости, с которой вы выступили от имени атеизма».

Учась в Семинарии, я иногда выбирался в театр. Часто нас возили всем курсом во МХАТ или в Большой, но я со всеми не ездил, а любил ходить один, чтобы хорошо все почувствовать, подумать в тишине, когда никто тебя не отвлекает. Бывал в Большом, в его филиале, в Ермоловском, Немировича-Данченко, который очень любила моя мама, в Концертном зале имени Чайковского, изредка в консерватории, в Доме актера, бывал и в оперетте. Мне очень нравился тот момент, когда гаснет свет, медленно открывается занавес и другой мир обступает тебя, а ты сидишь и затаив дыхание смотришь... на актеров. В театре я часто встречал дьяконов, священников, архиереев. Я не ходил на что попало, а выбирал хороших актеров и «на них» шел, а позднее, когда я стал священником и актеры стали приходить ко мне на исповедь, мне как-то легко было с

ними, они были для меня своими, из знакомого мне круга, а не из другого, чужого мне мира. Мама в разговорах об актерах обычно добавляла: «Наша жизнь хороша только снаружи, но велика тайна кулис».

Семинарские годы были самые счастливые, самые-самые... Семинария все дала и всю жизнь изменила, но четвертый год обучения обернулся для меня тяжелой болезнью, и все куда-то ушло: и мои занятия, и Лавра, и ребята, с которыми учился. Все произошло по слову отца Павла Лепехина, давшего мне рекомендацию. Мама говорила, что он «так интеллигентно сказал: “Рекомендацию в Семинарию дам, но он ее не закончит”». Володя Диваков привез мне письмо от владыки Питирима, который приглашал меня приехать в Семинарию и сдавать экзамены, но я очень много пропустил из-за болезни и постыдился вернуться. А летом Володя позвал меня прислуживать иподиаконом у нового архиерея Никодима (Ротова). Я сначала не решался, потому что плохо знал архиерейскую службу, но Володя меня уговорил и на первых порах помогал мне прислуживать. Никодиму было тогда всего тридцать три года: он запомнился мне молодым, коренастым, с улыбающимися глазами. «Ну что ж, — говорит, — вы мне по росту подходите. Как зовут?» — «Слава Винников». Так в мою жизнь вошел еще один архиерей. В основном он служил в Елоховском соборе, но ездили мы с ним и по другим храмам. Как-то приехали в храм Всех скорбящих Радость, что на Ордынке, настоятелем которого был отец Михаил Зернов, будущий архиепископ Киприан, большой шутник. С нами приехал второй иподиакон Святейшего отец Серапион, который подошел к отцу Михаилу под благословение, а тот ему: «А... отец Скорпион, прости... Серапион». Иподиакон даже в лице переменился, обиделся, но ничего не ответил.

У владыки Никодима я прослужил недолго. Однажды он вызвал меня к себе и сказал: «Слава, придется нам с тобой расстаться, причину не называю, но все так складывается... Только знай: если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, приходи. Тех, кто со мной работал, я не оставляю, всегда помогу». (Слово свое Владыка позднее сдержал.) Я его поблагодарил и вышел. В разговоре он намекнул на то, что вынужден мне отказать помимо своей воли, что сверху на мое место попросили взять кого-то другого.

Володя Рожков предложил устроить меня в храм Иоанна Предтечи на Красной Пресне через отца Николая Эшлимана. Мы с Володей поехали на Пушкинскую улицу, в самый центр Москвы, в дом, где когда-то жила Яблочкина, поднялись на второй этаж, вошли, а навстречу нам выходит... огромная собака. В комнате, где стояло пианино, нас встретил молодой черноволосый батюшка, очень интеллигентный, обходительный, с доброй открытой улыбкой. Это был отец Николай Эшлиман. Я поздоровался, а Володя говорит: «Вот, он был иподьяконом у владыки Никодима...» — «Ну что ж, — слышу, — пускай приходит, я ему помогу».

Но я не пошел, а устроился алтарником в храме Николы в Хамовниках, поближе к дому. Отец Леонид Гайдукевич сам пришел к нам в подвал и пригласил меня: «Слав, мы тебя возьмем, зарплата небольшая, будешь прислуживать, убирать, мыть полы, окна, вытрясать ковры...» Когда он ушел, мы с мамой переглянулись и она сказала: «Сынок, сколько бы ни платили, это храм. Иди и служи». Она часто повторяла: «Кем бы ни работать, лишь бы в храме. Даже дорожки разметать в храме почетно, потому что это

храм». Я прислуживал, читал, убирал, первую зарплату ждал долго, про меня поначалу забыли, но затем зарплату «повысили»: сначала до сорока, а потом до шестидесяти рублей. В паре со мной работал Феликс Карелин, очень умный и знающий парень, один из авторов «Открытого письма» Патриарху. Мы с ним много беседовали о положении в Церкви. Батюшки у нас в храме были неплохие, его уважали и приглашали наверх обедать.

Однажды меня вызвали из алтаря. Выхожу, стоит черноволосый парень с бородкой: «Мне бы хотелось у вас устроиться алтарником». Мы с ним поговорили, он мне понравился, ему разрешили помогать мне в алтаре, и вот настал день, когда его должны были официально принять на работу. И вдруг он говорит:

— Я вчера здесь в алтаре беседовал с отцом Леонидом, разговорились, он меня спросил, знаю ли я Анатолия Левитина-Краснова, и я ответил, что знаю.

— Боря, все, тебя сюда не возьмут.

Его в тот же день попросили уйти, сказав, что храму не нужны алтарники. Дело в том, что Левитин-Краснов был диссидентом, христианским публицистом, который своими статьями выступал в защиту Церкви. Одно время он был прихожанином нашего храма.

Борис ушел из храма, но мы продолжали общаться.

А я вскоре оказался в Издательском отделе у владыки Питирима. Отец Владимир Рожков посоветовал мне обратиться в редакцию за помощью. Редакция находилась в трапезной храма Успения Божией Матери в Новодевичьем монастыре. Пришел, сижу: владыка был у нас классным руководителем, и у меня теплилась надежда, что он меня не прогонит. Вижу, что он очень торопится, и сразу говорю: «Без денег и без работы». — «Вот что, — говорит, — пойди возьми бланк в бухгалтерии и напиши, что деньги получил за проделанную редакторскую работу, я подпишу, и в кассе тебе оплатят». Так я стал работать у владыки Питирима, делал все, что поручали: ездил курьером, считывал, вычитывал, переносил правку. Но в штат меня брать не собирались, а в голове крутилась прибаутка: «Уйти из патриархийных отделов легко, а устроиться очень трудно». Вспомнил я тогда владыку Никодима и его обещание и пошел в Отдел внешних церковных сношений. Смотрю: дежурным у владыки Коля Маньков, с которым мы вместе учились: «Скажи владыке, что пришел Слава Винников, его бывший иподьякон». Сижу жду: семь часов, восемь, девять, десять... Мы с Колькой уже все переговорили, а владыка все не зовет. Говорю Коле: «Пойди спроси, может, мне уйти?» Приходит: «Нет, не уходи. Ты же знаешь, какая у него работа, очень занят». Время пятнадцать минут двенадцатого. Николай побежал на звонок, а вернувшись сказал: «Говорит, пускай Слава со всех ног бежит ко мне в кабинет, и если опередит заграничного архиерея, то приму!» Я смотрю, а высокий импозантный архиерей уже в дверях... Ну я и бросился стремглав по коридору, только спросил у Николая, какая дверь у владыки, и без стука ворвался к нему в кабинет.

— Владыко, может, к себе возьмете?

— Да кем же я тебя к себе возьму, у нас же иностранный отдел, а ты даже Семинарии не закончил. А что ты сейчас делаешь?

— У владыки Питирима в редакции помогаю, только он меня в штат не берет.

—? А ты бы хотел у него работать?

— Конечно.

Встал, вышел из-за стола и благословил меня. Я смотрю: в сложенных для благословения руках... тридцать пять рублей. Я поблагодарил, он улыбнулся. Я за дверь, а там импортный архиерей сидит томится. На следующий день звонит секретарь редакции Евгений Алексеевич Карманов: «Вячеслав Николаевич, владыка Питирим решил вас взять в штат, приходите и пишите прошение на его имя». Довольная Валентина Ивановна Шишкина, старейший работник редакции, встретила меня очень тепло и сказала, что мне уже и стол поставили, и телефон и определили быть дежурным. Но дежурным я пробыл недолго, вскоре мне дали столик уже внутри редакции, где я работал с текстом, а иногда ездил в качестве курьера в типографии, в ТАСС, в Славянский комитет, домой к некоторым сотрудникам. Евгений Алексеевич стал меня хвалить и говорил, что я со временем могу стать редактором одного из отделов журнала, но сам я все же редакционной работой тяготился, тянуло в храм.

Владыка Питирим был профессором Академии и однажды посоветовал мне окончить Семинарию заочно. Я поехал в Лавру, взял конспекты и стал готовиться. Подготовлю предмет (а их было около шестнадцати), ищу преподавателя и сдаю. Один экзамен сдавал очень забавно. Преподаватель-священник задает вопросы:

— Как здоровье владыки Питирима? Над чем сейчас редакция работает? Какой номер «Богословских трудов» вышел? Как там Евгений Алексеевич Карманов?

Я обстоятельно, как могу, отвечаю.

— Ну что же, я вам поставил четверку. Вас устроит такая оценка?

— Конечно, устроит.

Эх, если бы все так. Но другие преподаватели гоняли по всему материалу. А когда я поехал сдавать «Практическое руководство для пастырей» инспектору архимандриту Симону, он гонял меня страшно по всему предмету, поставил четыре, немного побеседовали, я ему говорю, что, мол, надо в редакцию ехать, а он мне на это:

— А вы в редакции не работаете.

— Как не работаю? Работаю, отец Симон.

— Нет, не работаете.

— Да как же не работаю, работаю.

— Нет, не работаете.

— Кто это вам сказал?

— Владыка Филарет, ректор. Учтите, что оставшееся время для сдачи экзаменов вы должны жить в Семинарии и посещать все лекции.

Я — к ректору, а он: «Мне сказал владыка Питирим». Я застыл, как в немой сцене «Ревизора», — с открытым ртом и разведенными руками.

— Да я же только из редакции и опять туда еду...

А произошло следующее: владыка Питирим меня уволил и взял на мое место сына священника, а мне ни слова не сказал. Это, конечно, был его ответ на мое вторжение в редакцию при помощи владыки Никодима.

Я опять к ректору Филарету (мы с ним раньше вместе учились, он — в Академии, а я — в Семинарии). В то время он был заместителем Никодима (Ротова). Подхожу под благословение:

— Как же так, почему все переиграли? Владыка Питирим, и вы, и инспектор Симон — все против меня... Мы же с вами договаривались, что я буду приезжать и сдавать экзамены по мере подготовленности предмета, теперь же я вдруг должен жить в Семинарии. Владыко, у меня семья — жена, мама.

— Давно бы уже настоятелем был. А сейчас придется подчиниться и жить в Семинарии.

Вижу, что ничего у меня не получается и решаю выбросить последний козырь:

— Владыко, я когда-то иподьяконствовал у владыки Никодима, и он мне сказал: «Слава, если тебе понадобится помощь, приходи, я с кем работаю, тех не оставляю». Так что же, обратиться к нему?

Сидит молчит, думает... А я тоже думаю: «Никодим твой непосредственный начальник, так что смотри не ошибись». Поднимает он голову и говорит:

— Вот что, пусть все будет по-старому.

Давно бы так! Я поблагодарил и вышел.

Оказался я опять без работы и без денег, а нужно было заканчивать Семинарию. В Лавре я пожаловался на трудное положение моему товарищу отцу Лаврентию, он предложил помощь:

— Сколько ты в редакции получал?

— Сто пятьдесят рублей.

— Приезжай каждый месяц, я эту сумму буду тебе давать. У нас есть благословение благочинного оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Да, Господь не оставлял меня на всем моем пути к священству, не оставляет и сейчас. Вскоре я получил аттестат и привез его маме.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО



В 1965 году «за ящиком» в Хамовниках сидела молоденькая девчонка Лена, которая бросила институт и пришла работать в храм (если бы сама не бросила, то скорее всего исключили бы за веру как морально неустойчивый элемент). Как-то она спросила меня: «Слава, а ты знаешь, что двое батюшек написали Открытое письмо Патриарху и властям?» и протянула довольно толстую пачку печатных листов. Я залпом прочитал, а потом стал читать дома и товарищам по Семинарии, которые тогда приезжали ко мне в гости.

В письме говорилось о беззакониях, творящихся против верующих и Церкви, о закрытии десяти тысяч храмов, пяти Семинарий, тридцати монастырей, о преследовании верующих за их убеждения, о травле людей, которые крестили своих детей, крестились сами или венчались, потому что все эти люди проходили регистрацию, информация посылалась на место работы и учебы, говорилось о молчании церковных властей, не защищавших Церковь и верующих.

Как-то подозвали меня хамовнические батюшки и спросили, читал ли я Открытое письмо, называли авторов письма героями, радовались, что наконец-то нашлись люди, которые встали на защиту Церкви. Я радовался такой реакции священников, а сам решил размножить текст письма и распространять его. Мама была в восторге от письма, а когда я назвал ей имена авторов — отец Глеб Якунин и отец Николай Эшлиман (в письме даже были указаны их адреса), — она стала молиться за них. А я как увидел адрес отца Николая, так сразу вспомнил огромную собаку, пианино и батюшку с доброй улыбкой.

Отца Глеба я знал с Семинарии, а с отцом Николаем захотел познакомиться поближе и поехал к нему в храм Покрова на Землянке. Только я вошел в храм, а он идет мне навстречу. Подхожу к нему под благословение и представляюсь: «Я алтарник из Николо-Хамовнического храма, хочу вам выразить свою благодарность и признательность за Открытое письмо, целиком и полностью вас поддерживаю, спаси вас Господь». Он благословил меня, и видно было, что визитом моим очень доволен. А отцу Глебу я послал письмо, где так же поблагодарил его и выразил полное согласие с Открытым письмом. Он мне ответил, а в конце своего письма написал: «Верю, что если это дело Божие, то не погибнет».

Через несколько дней Патриарх Алексей I заявил, что авторы Открытого письма нарушили церковный мир, мол, мы так хорошо жили в советское время, тишь да гладь — Божья благодать, и вдруг нашлись какие-то подлецы и эту благодать нарушили. «Запретить их в служении впредь до раскаяния» — таков был приговор Патриарха, и хамовнические батюшки замолчали, как в рот воды набрали: мол, нет у нас героев на Руси и никогда не было. Среди иерархов Церкви нашелся лишь один герой — архиепископ Калужский и Боровский Гермоген (Голубев), который поддержал авторов письма и сам написал Патриарху. В результате архиепископ Гермоген был сослан в Жировицкий монастырь, где и умер. Я послал ему в монастырь письмо со словами благодарности и поддержки. Он ответил. Затем были еще письма и открытки. Архиепископ Гермоген — исповедник, и я верю, что он будет канонизирован Церковью.

А Лена опять подозвала меня и дала прочитать апелляцию отца Глеба и отца Николая, где они настаивали на своем, ни в чем каяться не собирались и в конце обещали, что «их рука не коснется епитрахили», т.е. что они покоряются запрещению. Через несколько дней Лена дала мне статью Левитина-Краснова в защиту авторов письма, где он называл их «героическими священниками, честнейшими». Я спросил Лену, каков из себя Левитин-Краснов, она ответила, что он ходит к нам в храм, «небольшой такой, кругленький, всегда стоит около ящика», и обещала мне его показать.

А события продолжали развиваться. Вскоре зашел ко мне Борис, несостоявшийся алтарник, и говорит: «Вчера был у отца Глеба...» Я очень удивился, аж глаза на него вытаращил. Оказалось, что они с отцом Глебом общаются, и я попросил Бориса свести меня с батюшкой. Борис тут же пригласил нас с мамой на свою свадьбу, куда был приглашен и отец Глеб. Мы купили подарки Борису и отцу Глебу, чтобы выразить ему хоть как-то нашу признательность за Открытое письмо. Отцу Глебу Тамара купила темно-коричневое портмоне, и мы с мамой во дворе Знаменского храма у Речного вокзала вручили ему подарок. Надо было видеть его улыбку, в которой были и боль России, и вера в ее возрождение. Он так верил в торжество правды, в воскресение Церкви, во что мы тогда не верили. Свадьба была в Вострякове, где в то время жил Борис. Мы сидели рядом с отцом Глебом, произносили тосты, встал и отец Глеб: «Желаю вам, Борис с Валентиной, чтобы духовное в вашем союзе преобладало над плотским».

Так вошел в мою жизнь и в жизнь моей мамы отец Глеб Якунин, вошел навсегда, бесповоротно, и я многие годы беспрестанно благодарю Бога за это. С тех пор я постоянно молюсь за отца Глеба и его семью и не знаю, за что такая милость Божия ко мне, что я узнал и стал дружен с этим замечательным бесстрашным священником.

Как-то мы собрались в Вострякове у Николая Петровича, с нами были отец Глеб и Лева Регельсон. Мне дали почитать воспоминания Пьера Жильяра о царской семье и их гибели, при этом Николай Петрович заметил: «Будь поосторожней, эти воспоминания с антисоветским душком».

Николай Петрович, человек очень славный, добрый и какой-то светящийся, в прошлом был партийным работником, а потом пришел в Церковь. Он очень любил отца Глеба и светился схожим с ним светом. А Лева Регельсон, по его собственным словам, в прошлом был сотрудником какого-то института, читал атеистические лекции, на собраниях сидел рядом с Юрием Гагариным и Валентиной Терешковой, потом принял крещение и решил для себя, что «раз в открытую выступал против Бога, то в открытую должен заявить о своей вере и выйти из КПСС». Пришел в деканат или партком, положил красную книжку на стол и сказал о своем обращении к Богу. Его посадили в машину и повезли к какому-то знаменитому психиатру. В психушку он, правда, не попал (врач сам оказался верующим!), но из института его выгнали. В те годы Лева снимал комнатку в деревянном двухэтажном домике напротив алтаря Николо-Хамовнического храма, часто посещал храм и хвалил проповеди отца Леонида, потому что тот часто ссылался на Булгакова, Бердяева, Флоренского.

Как-то мы с Левой были в Донском монастыре на Благовещение, день смерти Патриарха Тихона. Он отошел, и вдруг совершенно незнакомый мужчина сказал мне: «Если евреи отдаются Христу, то отдаются полностью». Это сказано о Леве, который позднее написал потрясающую книгу «Трагедия Русской Церкви», основанную на документальных материалах и изданную в Париже в издательстве «Имка-Пресс».

Однажды Лева решил устроиться к нам в храм алтарником или сторожем. Тогда многие выгнанные за веру работали сторожами при храмах. Я поручился за него перед старостой и его помощником, привел как-то Леву в небольшую комнатку при колокольне на «собеседование», а сам остался за дверью. Выходит вскоре Лева, страшно возмущенный и взвинченный: «Да они целый допрос мне учинили, а как узнали, что я с высшим образованием и работал в институте, то и разговор продолжать не стали». А мне так хотелось оказать ему эту маленькую услугу! Не получилось ни с ним, ни до него с Борисом. Очень жаль.

Сейчас, по прошествии многих лет, я благодарю Бога, что у меня не было высшего образования, а то прозябал бы я в каком-нибудь НИИ и вся жизнь церковная и смелые люди тех лет прошли бы мимо меня.

К этому же времени относится мое знакомство с Вадимом Шавровым, которое, правда, было довольно поверхностным. Шавров вместе с Левитиным-Красновым написали большой труд об обновленческом движении. Вадим довольно часто появлялся в Хамовниках, высокий, статный, и, застенчиво улыбаясь, говорил: «Собираю Глебушке на хлебушек». Многие батюшки тайно помогали запрещенным священникам и сочувствовали им. В это время я очень тесно сошелся с отцом Глебом. Его никуда не брали на работу, даже сторожем в храм, власти, как светские так и церковные, строили ему всяческие препятствия. Вынужденная безработица грозила ему статьей за тунеядство и высылкой из Москвы. Отца Глеба специально держали в таком «подвешенном» состоянии, чтобы легче было с ним разделаться. Наконец, уж не знаю какими путями, его взяли то ли чтецом, то ли певчим в храм Нечаянной Радости в Марьиной роще.

Он часто приходил к нам в гости на улицу Ефремова, куда мы переехали из Хамовников: мама кормила нас вкусными обедами, а мы говорили о положении Церкви, ходили по храмам, бывали в храме Илии Обыденного, в Троицком храме на Воробьевых горах у отца Владимира Рожкова, заходили к художнику Саше Салтыкову, который жил на Кропоткинской под самой крышей и с трудом спускался оттуда на костылях. Саша подарил мне чудесную икону святого благоверного князя Вячеслава Чешского с виноградной кистью в руке.

Я к тому времени тоже оказался без работы, отец Глеб рекомендовал меня в храм Нечаянной Радости, и меня оформили... электромонтером. Но прислуживал я в алтаре и видел, что на клиросе к новому чтецу и певчему относятся недоброжелательно. Отец Глеб все принимал как должное и ни на кого не обижался. Как-то приехал служить в храм епископ Филарет (Вахромеев) (сейчас митрополит Минский и Белорусский), с которым мы вместе учились. Когда-то они с отцом Глебом дружили, и мне было интересно, как они теперь встретятся. Смотрю — отец Глеб подходит к владыке под благословение, и они... обнялись! Видно, в Филарете еще оставалось доброе отношение к отцу Глебу.

К этому времени я уже задумал принять сан. Помню, как мы втроем, я, отец Глеб и его матушка Ираида, ехали на службу, а Глеб сказал ей: «Скоро он будет батюшкой...»

Борис, чью свадьбу мы справляли в Вострякове, вскоре принял сан священника где-то на периферии и стал служить под Москвой. Перед рукоположением я опять сильно заболел, лежал в Пятой градской больнице. Борис меня часто навещал, приносил апельсины и яблоки. В это время в одном из зарубежных журналов появилась статья «Наука и атеизм... несовместимы», авторами которой были Шавров и Левитин-Краснов. Я эту статью в палате читал вслух: реакция была разная, но слушали все очень внимательно. Мне запомнились слова Эйнштейна: «Я верю, что наука не противоречит религии, я верю, что религия не противоречит науке, и только при их совместных усилиях можно найти истину и добиться счастья для человечества».

Задумал я писать правду, только правду и ничего, кроме правды... А вы знаете, не получается, боюсь кого-нибудь обидеть. Мне хочется в первую очередь рассказать о тех людях, которые жизнь свою полагали за други своя, такая сила любви была в них заложена. Приглядитесь — и вы увидите их: не ищите показного, в глаза бросающегося, это в большинстве случаев мишура. Ходят настоящие христиане по нашей земле, отдают себя целиком делу Христову, за что и получают награду на небесах, но разглядеть их и молиться за них мы должны здесь, на земле.

Мама всегда мне говорила: «Слава, посмотри, тебя Господь все время сводит с людьми, которые стоят за Церковь... Это просто чудо». Да и сам я это уже видел: отец Глеб, отец Николай Эшлиман, отец Димитрий Дудко, Лева Регельсон и Виктор Капитанчук, Саша Салтыков и отец Борис, Вадим Шавров и Николай Петрович, Феликс Карелин, заключенный колымских лагерей архиепископ Вениамин (Новицкий), епископ Венедикт (Пляскин), который тоже сидел за веру... Люди удивительные, сильные своей верой и искренностью. Мама хорошо понимала их, восхищалась ими и за всех молилась. Об отце Глебе она часто говорила: «Нам, сынок, там не быть (в Царствии Небесном), где он будет!» Она ходила по храмам и приносила мне поклоны: от Саши Салтыкова из Илии Обыденного, от Николая Петровича с Преображенки, от отца Бориса из Подмосковья.

Недавно нашей Церковью были прославлены новомученики и исповедники российские, а также Царственные мученики. Но помнит ли кто сегодня, что у истоков их прославления стоял отец Глеб Якунин? Им и его друзьями был составлен мартиролог — список замученных большевиками мирян, священников и архиереев. Против каждого имени указывалось, кто какую принял мученическую смерть за исповедание Христа. В те страшные годы советская власть называла новомучеников контрреволюционерами, а высшие церковные власти с готовностью вторили безбожникам: конечно, не мученики, ясно, что контрреволюционеры.

Отец Глеб Якунин первым заговорил о Царственных мучениках как о страстотерпцах. Он писал в выпущенных им бюллетенях о необходимости прославления Царской семьи и обосновывал их мученический путь. Оказавшись за свое подвижничество в тюрьме (а он получил пять лет лагерей и пять — ссылки), он даже оттуда сумел переправить через свою тетушку Лидию Иосифовну в капсуле выполненное на папиросной бумаге подробное описание иконы Царственных мучеников и новомучеников российских, с расположением отдельных фигур святых на задуманной им иконе. Я, грешный, держал это описание в руках и молился за отца Глеба: «Господи, защити его там...»

Его работа по прославлению новомучеников началась в семидесятые годы! Это было советское время, когда Священный синод в годовщины революции посылал партии поздравительные телеграммы, а в юбилейные годы издавал послания в связи с очередной «великой» датой «Великой» Октябрьской, в которых прославлял советскую власть и все ее деяния. «Для христианина важно видеть, — отмечалось в одной из архиерейских речей 1967 года, — что в этом новом мире воплощаются и получают реальное бытие идеалы, принесенные в мир Воплотившимся Словом». В эти же годы на страницах «Журнала Московской Патриархии» стали развивать богословие революции, которое не только оправдывало русскую революцию и развязанный ею террор, но и призывало трудящихся за рубежом делать революцию в своих странах! Революции придавалось богословское содержание: «Дело революции — дело родной страны и родного народа, оно — дело членов Православной Церкви. (...) Значение Великой Октябрьской социалистической революции для христианства может быть определено при рассмотрении в двух планах: в прагматически-практическом и в направлении богословского приближения». Какой витиеватый и казенный слог! Какая «симфония» Церкви и государства! В ее «гармоничное» звучание ворвался резкий голос Открытого письма и мартиролога новомучеников. В те годы память о новомучениках была практически стерта из сознания людей, а об их прославлении никто и не помышлял. Когда же много лет спустя стали готовить материалы к канонизации новомучеников, никто и не вспомнил об отце Глебе и его единомышленниках, героически начинавших это дело в семидесятые годы и пострадавших за свое исповедничество. Я же знал об истоках прославления Царственных страстотерпцев и новомучеников, и теперь считаю своим священническим долгом напомнить об этом людям. Русская Зарубежная Церковь, которая и тогда в своем церковном календаре публиковала имена новомучеников, в список исповедников включила отца Глеба Якунина и отца Николая Эшлимана.

Хрущевские гонения вновь поставили вопрос: должны ли христиане защищать свою Церковь и если должны, то как? Во время послереволюционных гонений Патриарх

Тихон назвал большевиков извергами рода человеческого и тех, кто будет с ними в общении, постановил отлучать от Святого Причастия и от Церкви. Никто не отменял этого решения законного Патриарха, но не помню и того, чтобы кто-либо его исполнял. Казалось бы, Церковь свободна сегодня от безбожников и гонителей, но очистилась ли она внутренне от союза с ними? Народ все так же безмолвствует.

А те, кто защищал Церковь в то время, жизнью своей были готовы пожертвовать ради Христа. Многие погибли в тюрьмах и лагерях. Мы помним героев, защищавших страну во время Великой Отечественной войны, а защитников Церкви забываем или оговариваем. Их имена вычеркнуты из церковной истории и из памяти народа. Наши прихожане мало интересуются состоянием Церкви, они ограничиваются посещением службы и домашней молитвой. А ведь Церковь — это все мы, и глава Ее — Сам Иисус Христос. Это значит, что мы должны стремиться к тому, чтобы церковная жизнь проходила в согласии с заповедями Христа, а не в угоду золотому тельцу и трону кесаря. Господи, отверзи нам двери покаяния и помоги очиститься от союза с безбожниками и гонителями!

«ПРИИМИ ЗАЛОГ СЕЙ...»

Устроился я алтарником в храм Иоанна Воина на Якиманке. Там в это время был священником отец Прокопий Харитошкин, мой соклассник. Разбираю я как-то записки в алтаре и говорю рядом стоящей матушке-алтарнице: «Я недавно был у отца Владимира Рожкова на Воробьевых горах, у них записок совсем мало». Только это и сказал, а под день Усекновения главы Иоанна Крестителя входит в алтарь настоятель отец Михаил Орлов и говорит мне: «Снимайте стихарь и выходите из алтаря». Я говорю: «Объясните хоть в чем дело». — «Снимайте и уходите». Отец Прокопий бледный стоит, губы дрожат, силится что-то сказать, а не может. Снял я стихарь, вышел из храма и думаю: «А куда идти?» Вспомнил, что мама молится в храме Всех скорбящих Радость, и пошел к ней: «Мама, выгнали меня и не знаю за что!» — «Что Бог ни делает, все к лучшему, сынок».

Да, Сам Господь вел меня таким путем: выгнали меня из Хамовников, выгнали из редакции, выгнали из храма Иоанна Предтечи на Красной Пресне, да еще выгнали и из Иоанна Воина — везде гнали, прямо в шею, и выгнали... в священники! Дай им всем Бог доброго здоровья. Всех бы так гнали, жизнь-то какая хорошая была бы!

А у Иоанна Воина произошло следующее: матушка-алтарница сказала отцу Михаилу, что я бываю у отца Владимира Рожкова, который раньше тоже служил под началом отца Михаила, и у них были какие-то столкновения. Вот и посчитал отец Михаил, что я подослан отцом Владимиром навредить ему, принял меня за вражеского лазутчика. А еще раньше, в церкви Иоанна Предтечи, настоятель отец Николай Ситников отказал мне после того, как узнал, что владыка Питирим уволил меня из Издательского отдела. Решил поостеречься, несмотря на то что в Издательском отделе отцу Николаю отрекомендовали меня наилучшим образом.

Передо мной тогда было несколько путей к рукоположению: я мог пойти к владыке Питириму, он бы мне не отказал; мог пойти к владыке Никодиму, здесь успех был бы полностью обеспечен; мог пойти и к владыке Ювеналию, он был келейником, а я иподьяконом у владыки Никодима. Но я решил поступить по-другому: я поехал к отцу Глебу. За ним было последнее слово. А когда я получил его добро, я решил поступить очень просто: ни к кому из владык не ходить, а оставить такое ответственное дело на волю Божию. Время тогда было тяжелое, и власть чинила много препятствий на пути тех, кто хотел стать священником. Я написал прошение на имя митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена, который тогда был местоблюстителем Патриаршего престола, и стал ждать, не прибегая к помощи знакомых мне архиереев: благословит митрополит на рукоположение, значит, так Богу угодно, нет — значит, такова воля Божья. И воля Божья была, чтобы я рукополагался. Я позвонил секретарю епархиального управления отцу Виктору Ипполитову через месяц после подачи прошения и услышал:

- Вам зеленая улица, ждите... А что если вас в Хамовники?
- Куда направят, я на все согласен.
- Многие батюшки не желают рядом с домом служить.

Я подумал: «Как же я могу отказаться от Хамовников? Моего храма?» Жду решения, а сам вспоминаю Димку Дудко, который, кажется, года три ждал своего рукоположения.

Наконец выходит указ: «Архиепископу Киприану рукоположить сначала во диакона, а потом во священника. Направить служить в храм Рождества Христова в Измайлове». А я в этом храме ни разу не был.

Сначала я поехал в Лавру к Преподобному и зашел за помощью к своему товарищу отцу Лаврентию: «Помоги, отче, рукополагаюсь, а у меня ничего нет: ни подрясника, ни креста священнического, ни денег, чтобы все это купить». А у него за занавесочкой вешалка, где висят его подрясники: начал он перебирать их, достает один: на, мол, примерь. А он ниже меня был ростом, и подрясник был коротковат, но с запасом на подпушке. Я обрадовался: у меня мама портниха, умеет шить. Теперь дело за крестом. «Посиди, — говорит, — я сейчас приду». Я сижу, Бога молю помочь ему достать крест. Довольно долго сидел, вдруг входит мой батюшка Лаврентий, а в руках у него крест серебряный священнический и отдельно — цепочка. Цепочка, правда, какая-то полинялая, но крест-то, крест, — старинный, николаевский, о таком только мечтать можно было. На обороте креста дата: день коронования императора Николая II, 14 мая 1896 года и надпись: «Верным будь примером, словом, житием». Слова апостола Павла. Я был счастлив безмерно: все мне пришло в руки и все через Лавру, все получил сполна. «Крест, — говорит отец Лаврентий, — тебе дал архимандрит Варнава (сейчас архиепископ Чувашский и Чебоксарский), молись за него. А цепочку поменяешь, маме поклон, ступай с Богом».

Прибыл я к владыке Киприану в Скорбященский храм на Трифона мученика. Стою перед его грозными очами:

— Какой у меня ставленник длинный. Куда тебя направили служить?

— В Измайлово.

Он даже подпрыгнул

— Неужели к отцу Виктору Жукову?!

Я потом узнал, что они были друзьями. Владыка Киприан в прошлом был артистом эстрады, администратором в театре, а потом стал священником отцом Михаилом Зерновым. За службой на Тихона (Трифона — *прим. ред.*) мученика он рукоположил меня во диакона. Вечером в сане диакона я уже участвовал во встрече владыки и «ревел» своим «басом» «Премудрость». А на Сретение меня рукоположили во священника: обводили вокруг Престола, я целовал углы и, поравнявшись с владыкой, который сидел у одного из углов Святого Престола, падал на колени и целовал ему руку. А потом я опустился на колени, владыка пригнул мою непутевую и непокорную голову к самому Престолу, накрыл тяжелым омофором и произнес слова, которые запали мне в самую глубину души, в самое сердце: «Благодать Духа, немощная врачующую и оскудевающая восполняющую... Возведи очи твои на небо и проси Бога о прощении твоих грехов и о даровании тебе непорочного священства». А я внимал этим Божьим словам и не знал, на каком небе я нахожусь, как апостол Павел «восхищен был до третьего неба (...) и слышал там неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Затем владыка вручил мне дискос, с лежащим на нем святым Агнцем со словами: «Приими залог сей, о нем же истязан имаши быти в день Страшного Пришествия Господа нашего Иисуса Христа». И так я стоял, наклонившись над Агнцем, до самого причащения, и казалось мне, что тарелочка-дискос с Агнцем вырываются из моих рук, и не просто вырываются, а и меня с собой захватывают, и я Богом не забыт, не отвергнут за мои грехи. Удивительное это состояние — явное ощущение, что Господь

посетил, сошел Своим Духом Святым на меня грешного. Потом меня поздравляли: мама целовала, а Валентина Ивановна из редакции старинный служебник подарила.

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ИЗМАЙЛОВЕ



Первая моя литургия совершилась в храме, где меня рукополагали, а в субботу к началу всенощной я поехал в Измайлово. Тихий спокойный староста Иосиф Николаевич встретил меня неприветливо: «Настоятель отец Виктор сейчас подъедет». Жду. Подъезжает на светлой волге высокий статный седой человек, с короткой стрижкой, безбородый, с каким-то женским лицом. Я к нему: «Прислан Патриаршим местоблюстителем митрополитом Пименом у вас служить». Он даже ничего не ответил, прошел в притвор и там исчез. Ничего себе, что же мне делать? Хорошо, мама была со мной, стала меня успокаивать: ничего, мол, он сейчас выйдет и увидим, что дальше. Выходит... и опять мимо меня. Я встал у притоки входных дверей и говорю маме: «Я теперь священник, дело сделано, пойду к секретарю, отцу Виктору Ипполитову, и расскажу, как меня здесь приняли, пускай направляют в другое место». В это время началась служба, и толстенький кругленький священник, совершавший каждение, поравнялся со мной и сказал: «Настоятель вас просит пройти в алтарь». А дьякон, в котором я узнал моего соклассника Петра Есина, посмотрел на меня своими пронзительными глазами и добавил: «У нас здесь концлагерь!» — и так сжал свои кулачищи, что косточки побелели.

Я вошел в алтарь: там еще два священника. Постарше — отец Виктор, помоложе — отец Михаил, а толстенький оказался отцом Александром. Порядки в храме и правда

были очень жесткие: ранняя служба, например, начиналась в семь часов утра, вставать нужно было в половине пятого, чтобы успеть доехать до храма; после ранней молебны с пятью-шестью, а то и с большим числом заказных акафистов; затем идешь крестить в душную маленькую крестилку, где человек тридцать-сорок взрослых и младенцев, крестишь в два, три, а то и в четыре приема, так как все не помещаются, потом всех воцерковляешь и причащаешь; а затем обязательно нужно идти на молебен к настоятелю, все бросай, а к нему беги; после крестин идешь отпевать, затем венчание, а в пять часов вечера заказная заупокойная всенощная, которая длилась час, а потом вечерня с акафистом Божией Матери Иерусалимской, с водосвятием, и нет тебе ни завтрака после ранней, ни обеда, — ничего, только быстрее, быстрее, быстрее! Напоминало это матросов на корабле во время аврала, священники бегали, как по трапу: вверх на колокольню и вниз. Я увидел, что некоторые батюшки приносят с собой еду или посылают кого-нибудь за колбасой и молоком. Я стал приносить термос с чаем, яичко, булочку. Взлетел как-то по нашему трапу наверх, только в стакан чаю налил — настоятель тут как тут: «Нечего здесь чаи распивать, работать надо!» А потом подходит ко мне на панихиде и говорит: «Вы знаете, что я вам скажу, вы нам не подходите». Я думаю: «Не ты меня сюда прислал, а митрополит Пимен». И продолжаю служить, а настоятель со мной даже здороваться перестал. Ну и я, видя такое, не здоровался с ним. Месяца два еще прослужил, да без выходных, все батюшки на мне буквально ездили, все требы норовили на меня свалить, и в храме, и вне храма. Я, когда на дому причащал, не брал с людей ни копейки: так был рад своему священническому званию, что от всякой mzды отказывался. Вдруг однажды подходит настоятель: «Здравствуйте, отец Вячеслав». С чего бы это? «Вы ходили причащать, вам там давали три рубля, а вы не взяли, вы народу понравились». Вот что могут сделать три рубля, какой-то задрипанный трешник.

Тяжело было, но служил: молодой был, и сил было много. А вводил меня в службу отец Виктор Продан, все его звали отец Виктор маленький, и я ему до гробовой доски за это благодарен. Настоятель же действительно был другом владыки Киприана и отпускал меня к нему на праздник иконы Всех скорбящих Радость. А владыка Киприан всегда спрашивал, молюсь ли я за него на проскомидии, поминаю ли его первым. Поминаю и сейчас, только уж как почившего.

В Измайлове я прослужил десять лет: мама ездила ко мне на службы и даже пела в левом хоре. Очень много было треб на дому: за десять лет я исколесил все Измайлово вдоль и поперек. Однажды было тринадцать треб на дому, из них пять соборований, а перекусить за весь день было нечего. Я, хоть и был пятым священником в храме, решил обратиться к старосте с просьбой наладить как-то питание. И прямо в тот же день Александра Васильевна, казначейша, подошла ко мне: «Отец Вячеслав, приходите в бухгалтерию, мы вам там покушать приготовили, правда, первого нет, но есть бутерброды и картошка». С тех пор в храме установились обеды, позднее и трапезную сделали.

Настоятель отец Виктор держал всю жизнь храма в своих руках, староста был очень верующий человек и без благословения настоятеля ничего не делал. По тем временам ситуация невероятная, так как старосты ставились властью и управляли в храме всеми делами. Порой эти люди были не только неверующими, но и просто грабителями. За свою непокорность властям отец Виктор позднее и пострадал: получил год тюрьмы,

потом заболел и умер. Прислали нового настоятеля архимандрита отца Герасима, который только разрушал налаженную жизнь храма.

Я тщательно готовился к каждой проповеди: в основном они касались веры и неверия. Хотелось как можно больше людей привести к Богу. Особенно я старался на крестинах, так как там бывали совсем случайные люди, которые и в храм-то никогда не заходили. Однажды в крестилке мужчина возмутился: «Почему вы на крестинах устраиваете пропаганду своих взглядов? Смотрите, это для вас может плохо кончиться!» — «Я здесь хозяин и говорю, что хочу», — ответил я.

Власти вмешивались и в крестины, и в венчания, и в требы на дому. Крестины и венчания регистрировались, а затем сообщалось на работу и учебу. Конечно, это делали не священники, но виноваты в этом были все: от Патриарха до простого батюшки, так как все молчали. После смерти отца Виктора у нас был староста Виталий Васильевич. Как-то меня вызвали в райисполком, и я увидел его сидящим в коридоре, а в руках у него — целая кипа книжек, в которых регистрировались крестины, венчания и все требы. Привез книжки на просмотр, а значит, обрек людей на страдания.

Требы на дому тоже проверяли. Как-то двое мужчин из райисполкома ходили по домам и спрашивали:

— Вот у вас был батюшка, причащал (или соборовал).

— Да, хороший был батюшка, так все было благодатно, и поисповедовал, и причастил.

— Ну вы его, конечно, поблагодарили?

И если старушка не понимала, кто к ней пришел, то отвечала:

— Три рубля (или пять) батюшке дала.

А священнику это грозило новыми налогами, батюшки и так платили огромный дискриминационный налог в 62%. Оклад был пятьсот рублей, а на руки шло сто девяносто. Остальное — государству на строительство коммунизма. Один батюшка в храме Илии Обыденного научил меня: «Пускай они на квитанции напишут: по совершении требы со священником никакие денежные расчеты не производились.» Я так и стал делать, у меня целая куча накопилась таких квитанций. А насчет денег я понял только одно: если к ним не тянешься, они сами к тебе бегут, особенно в таком деле, как «поповское». Служи и ни о чем не думай: Господь никогда не оставит.

Трудно было в Измайлове, но всегда говорю: благословенно оно, так как очень много мне дало: укрепило в священстве, многое открыло на духовном пути, многое высветило. Да и место очень благодатное: воздух загородный, лес недалеко, маленькое зеленое кладбище при храме: уютно как-то, тепло, деревянные домики вокруг стоят, тогда еще деревня Калошино была жива, палисаднички, яблоньки, вишенки. Правда, у этой деревни было уже новое название — 2-я Советская, хотя ничего советского в ней не было: какая же она советская, когда посреди деревни храм стоит с колокольной и колоколами и пять батюшек денно и ночно службу несут, о живущих в этой деревне молятся.

АНТИОХИЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Шел 1980 год. Измайловский храм был полон народу, соборовали, когда ко мне с трудом пробрался староста Виталий Васильевич и сказал: «Я случайно узнал, вам протоиерейство дают». А вскоре за обедом он как бы невзначай спросил:

- Отец Вячеслав, вы когда-нибудь в Антиохийском подворье были?
- Да был как-то раз.
- Там сейчас ремонт идет...

А через несколько дней:

- Вы знаете, отец Вячеслав, вас переводят в Антиохийское подворье.

Слова прогремели как гром среди ясного неба. Как бы ни было трудно в Измайлове, я за десять лет очень привык к храму и людям. Собрал я вещи, хомут и клещи, народ меня окружил: как же так, мы просить за вас пойдем... Но я решил сначала сам выяснить что к чему. В один из дней к двенадцати часам меня вызвали в Патриархию, где в приемной я увидел голубоглазого батюшку, с длинной бородой.

- Отец Вячеслав, не узнаешь? Учились вместе.
- Саша Дасаев? Прости, отец Александр? Оброс-то как, я тебя и не узнал.

Он мне жестом показал, что нас с ним храмами меняют. Вызвали нас вместе. Секретарь отец Матфей протянул нам указы на подпись. Мы, наверное, целый час не подписывали, возражали, пытались его переубедить. Но все же пришлось подписать. Мне он сказал: «Послужите хотя бы две недели, а там посмотрим». Вышли, а отец Александр говорит: «У меня вчера на панихиде кадило оборвалось, и я сразу сказал себе, что переведут». А у меня ничего не обрывалось — все равно перевели. Наверное, не в кадиле было дело, а в чем-то другом.

Когда я приехал на подворье, настоятель отсутствовал, сопровождал по России нового Патриарха Антиохийского и всея Востока Игнатия. Я познакомился с батюшками, порадовался, что много ребят в алтаре прислуживают, узнал, что настоятелем служит архимандрит Нифон (Сайкали), с которым мы учились в Семинарии. На исходе второй недели приехал настоятель и потребовал меня к себе.

- Вас секретарь Патриарха отец Матфей прислал?

- Да.
- Вы протоиерей?
- Да.
- Старшим священником?

Повернулся и пошел. Я вдогонку:

- Отец архимандрит, а мы ведь с вами вместе учились.

Остановился:

- В Семинарии?
- Да.

Посмотрел и ушел. Двадцать четыре года прошло, мог и забыть.

Несмотря на холодный прием, мало-помалу у меня установился контакт с отцом Нифоном, и я старался служить так, чтобы во всем были мир и согласие. К порядкам на подворье я привыкал медленно, и только через некоторое время почувствовал раскрепощенность: нет за тобой слежки — крести, венчай, совершай требы на дому, проповедуй. Никто ничего не регистрирует. Как-то раз меня спросили: «Сколько стоит

причастить больную?» Я говорю: «Ничего не стоит, это ваше благое произволение: можете что-то дать, можете и ничего не давать». А в Измайлове требу на дому оплачивали в храме за ящиком и получали квитанцию, а потом еще хотели батюшку отблагодарить, и получалась двойная оплата. Очень жалко было людей, ведь написано: «Даром получили и даром давайте». Венчающиеся в Измайлове боялись, что сообщат о них на работу или учебу, а на подворье благодать: батюшка молится, жених и невеста молятся, и никаких опасений. Ребята молодые прислуживают в алтаре и тоже ничего не боятся: читают, поют, многие хотят поступать в Семинарию. В то время подворье было «островом свободы» в Москве. За его пределами все было по-другому.

Одна молодая прихожанка рассказывала, как она в те годы открыла Евангелие в метро и стала читать, тут же рядом возник милиционер: «Вы почему это читаете?» Хотел повести ее в отделение, она еле отвертелась, пришла в храм взволнованная, взъерошенная. Такие случаи были нередки. Меня самого на подходе к храму останавливали дружинники или милиционеры вопросом: «Куда идете?» И несмотря на это, сегодня на станциях метро продают коммунистические газеты и зазывают вернуться в «славное» прошлое. Если эта «родная» власть вернется, то работы у нее будет по горло: только забирай и забирай, сажать станет некуда, тюрем не хватит. В метро я сейчас многих вижу с Евангелием, молитвенниками и духовной литературой в руках, спокойно сидят и предаются своим мыслям. Никто не удивляется людям в подрясниках и рясах. Я думаю, что о состоянии общества нужно судить по духовности, это самый верный признак. То, что было с нашим народом и с нашей Церковью, может только в страшном сне присниться: слава Богу, сон кончился, надо нам всем проснуться и благодарить Бога за храмы, за монастыри, за все, что он нам дал, и в первую очередь искать Божьего, а остальное, по слову Спасителя, нам приложится. Как олень стремится на источники водные, так и мы должны стремиться на источники духовные: возжаждать духовно, прийти в храмы и утолить свою жажду.

Неистребима в человеке вера в Бога: чего только не делали, чего не предпринимали атеисты-коммунисты: расстрелы, тюрьмы, ссылки, в ход были пущены все средства пропаганды: издательства, газеты, радио, телевидение, театр, искусство, школа, институт, детские сады и даже ясли, — все-все, от самого верха до самого низа работало на атеистов, всеми способами, физическими и идеологическими, доказывало и приказывало, что Бога нет... Но ничто не могло искоренить веру в народе, и в те страшные годы люди приходили крестить детей, крестились сами, исповедовались, причащались, венчались, обходя все препятствия, поступали в Семинарию, становились священниками. Я сам служил в то время священником и всегда расценивал это как чудо. Неистребим голос Бога в человеке.

ДНЕВНИК СВЯЩЕННИКА

Пустите детей приходить ко Мне...

С какой жадой люди кинулись в церковь, когда открыли двери церкви всем. И в первую очередь повели ко Христу своих детей, хотя сами прежде в церковь не ходили, а порой были и некрещеными. Не зная призыва Спасителя «пустите детей приходить ко Мне», откликнулись на этот призыв, привели детей и посадили у ног Спасителя, а сами встали в сторонке. Так это было, я тому свидетель. И я, грешный батюшка, неумело, но со страхом Божиим и верой говорил этим детишкам о Христе, не имея никакого опыта общения с детьми, видя их раньше только на исповеди. Нужно было донести Христа до их сердечка, до их юных душ, а заодно и до их мам и пап. Только и твердил: «Господи, помоги, Господи, не остави, дай умение и разум, дай слово, дай знание приобщить их к Тебе, к своему Творцу», — и неумение восполнялось верой и молитвой. Меня самого воскресная школа подняла, я сам учился и учил других, и сколько было радости, когда дети открыли свои сердца и им открыли Христа. Для священника это радость неизреченная. Христос стал посреди нас и дал нам свой мир, дал жизнь, дал Истину, которая освободила всех нас от той гибели духовной, в которую ввержена была Россия. Господь говорит, что «если кто одного из малых сих соблазнит, лучше бы этому человеку на свет не родиться, лучше бы ему повесить жернов на шею и погибнуть в пучине морской», а если хотя бы одного человека приведешь ко Христу, то будет тебе большая награда, и здесь, на земле, и там, на небе. Вся жизнь моя была проникнута этим призванием, даже когда я был мальчишкой, а когда стал батюшкой, то с этим ложился и с этим вставал. И вот вокруг меня мои духовные чада, и маленькие и большие, мы сидим в воскресной школе, пьем чай и говорим о Боге. Никто не расценивает это как религиозную пропаганду, и никто нам не мешает, да за одно это можно отдать свою жизнь. А особенно за детишек, которые сидят у моих ног, как у ног Спасителя, смотрят на меня ясными глазами и ждут, что я скажу о Христе.

Нет большего счастья на земле, чем Христос и дети. Это другой мир, где Христос царствует навеки, потому что это дети Христовы, и дети этих детей будут Христовы... И тогда весь мир будет Христов! Христос во всем и во всех!

К Серафиму Саровскому подошла как-то купчиха или генеральша, а он в это время был среди пришедших к нему ребятишек, уж очень он их любил. «Отец Серафим, а отец Серафим, — громко обратилась она к старцу, нарушая его ангельское общение с детьми, — я вот кроме среды и пятницы хочу еще понеделничать, что вы мне на это скажете?» Отец Серафим заморгал удивленно и говорит: «Я что-то не совсем понял тебя. Ежели ты это насчет еды, то вот что я тебе скажу: как случится, что замолишься, забудешь об еде — ну, не ешь, не ешь день, не ешь два, а там как проголодаешься, ослабеешь, так возьми и поешь немного». Батюшка Серафим среди детишек сам становился ребенком, а потому по-детски непосредственно разрешил вопрос чванливой ревнительницы поста.

Преподобный Серафим от взрослых скрывался в кустах, прятался и старался, чтобы они его не заметили, прошли мимо. Тогда взрослые шли на уловки, посылали вперед себя детишек, которые кричали: «Батюшка Серафим! Отец Серафим!» И он выходил из своего укрытия, и приставлял палец к губам: тише, тише... а то они меня найдут, и прижимал детишек к груди, а потом появлялись и взрослые со своими недетскими

вопросами, наподобие этой купчихи или генеральши: «Я хочу понеделничать...» Да понеделничай себе на здоровье, причем здесь отец Серафим? Просто посмотри на него, тогда и спрашивать ничего не придется, разом получишь ответ: если замолишься, то не до еды будет. Ведь и в храм часто приходим, но не подходим к батюшке, а постоим около икон, помолимся и получаем ответ. Разве так не бывает? А у кого Серафим спрашивал, находясь в затворе, и у кого получал ответ? Я думаю, у Самого Спасителя.

«Будьте как дети»: мир держится на детях и на праведниках, которые и есть дети. Едешь в метро, и сидит перед тобой человек хмурый, сердитый, насупленный. Входит женщина с мальчиком, мальчик начинает бегать, шалить, а насупленный человек на глазах преображается: светлеет, лицо становится мягким, разглаживается и озаряется неподдельной улыбкой, он сам становится похожим на этого мальчика.

С открытием воскресной школы ее ученики с благословения настоятеля стали появляться в алтаре. Им сшили голубые стихарики. Радости было много, глаза так и светились. Я им во время службы старался объяснить что к чему: когда нужно на коленочки встать, где можно стоять, где нельзя ходить. Но ребята есть ребята. Бывало что и шалили. Взрослые в алтаре им кулаки показывали и из алтаря гнали. Только и слышно было: «Гнать их надо отсюда. Невозможно с ними молиться, делать им здесь нечего». Я отвечал: «Не трогайте их, есть благословение настоятеля, и я за них отвечаю».

Был у нас мальчик Федя, лет десяти, беленький такой. Как-то раз прошел он не вовремя через горнее место. Получил пятерней по голове так, что его волчком закрутило. Мальчик после этого исчез и ни в воскресной школе, ни в алтаре две недели не появлялся. Я уж не знал, что и думать, телефона его у меня не было. А вдруг что-то серьезное, сотрясение мозга, ведь мальчишка же. Я бы не стал этот случай упоминать, вроде все обошлось и прошло уже много лет, но сердце у меня до сих пор саднит. Стоит перед глазами мальчик, а над ним здоровенный кулак.

Другой «ревнитель благочестия» взял как-то двух мальчиков за шиворот и с такой силой ударил их лбами в алтаре, что у них искры из глаз посыпались. Ребята мне пожаловались. Я пригрозил их обидчику: «Если еще раз позволишь себе такое, я тебя самого из алтаря выгоню, даже благословения настоятеля спрашивать не буду».

Как же можно не помнить слов Спасителя: «Пустите детей приходить ко мне»? Или сами не были детьми, а сразу родились боролатыми и злыми? Сейчас ребята выросли, и те, кто выдержал «испытания», остались в алтаре прислуживать. Им теперь кулак не покажешь и на горнем месте на них не замахнешься. Но только где же любовь взрослых в алтаре к маленьким прихожанам? Откуда такое буйство, такая одержимость против них? Мешают молиться? Господу не мешали, а им мешают. Он говорил: «Пустите их ко Мне!» — а мы их гоним.

Мальчик лет пяти, доверчивый, просто ангелочек, подходит к причастию и слышит: «Ты че сегодня на завтрак ел? С какой булкой чай пил?» Стоит испуганный. Шел причащаться — и вот такая встреча. Взрослый подходит, и опять: «Исповедовался?» — «Да». — «В том году?» Причастник в растерянности.

Стоят люди, как на Страшном Суде. Спрашивается, зачем весь этот спектакль? Взрослых, если сомневаешься, можно просто спросить, был ли на исповеди. А

маленьких вообще спрашивать не нужно, тем более грубо или с издевкой. Пусть даже ребенок скушал что-то или на исповеди не был.

Все советские годы безбожники гнали детей из Церкви и не пускали ко Христу, а потом стали гнать и «служители культа». Не загораживайте Христа от детей, «ибо таковых есть Царствие Небесное». Неужели доживем до седых волос, а этого не поймем?

На вечерней службе у нас в храме часто поют две сестры — наш регент Лия и ее сестра Оля. Но сегодня Оля заболела, и Лия читала и пела одна, пока не запела «Честнейшую». Здесь к ней присоединился второй голос: маме подпевала пятилетняя Ксюша, два голоса нежно сливались в вышине храма. Как же это чудесно, когда дети на клиросе поют. В советское время за такое пострадали бы и священник и мама, а сегодня двери храмов открыты, Сам Господь приглашает детей на клирос.

Дни бывают разные: спокойные и беспокойные, когда «покой нам только снится». Ко мне покой приходит тогда, когда я отслужу и в воскресной школе чаю попью, увижу милые знакомые лица. Я не знаю, что даю тем, кто в школе со мной чай пьет, но они мне очень помогают, в чем-то я здесь обрел себя. Здесь моя семья: большой стол, горячий чай, покой и уют. Прихожу домой, молюсь, пишу и вспоминаю школу: какие ребята стали большие, растут прямо на глазах. За тринадцать лет четыре батюшки на подворье сменились, а ребята воскресную школу не бросают. Вряд ли где еще есть такой состав учащихся, как у нас: от трех месяцев до шестидесяти трех лет. Интересно, сколько мы еще продержимся, не разбежимся? Не скучно ли им со мной? Да нет, задают вопросы, делятся своими заботами... Приходят в школу, — значит, приходят ко Христу, чувствуют, что без Него нельзя, и надо в какой-то миг оторваться от дел и бежать в воскресную школу (Христос воскрес, потому и школа называется «воскресная») и частичку радости Воскресения унести домой. Так и живем от воскресенья до воскресенья — такой у нас, христиан, есть день, который идет после субботы. Воскресе-ни-е... Побывав в школе, воскресаем и мы. С Воскресением Христа, если вдуматься, у нас всегда Воскресение. Радуйтесь, Христос воскрес! Воскресная у нас должна быть жизнь, а не унылая, мрачная, любой год должен быть радостным, светлым. Мы говорим «Светлое Христово Воскресение» — вот в каком светлом мире мы живем, не будем печалиться, не будем огорчаться, а будем каждое воскресенье спешить в нашу воскресную школу. Она ждет нас, маленьких и взрослых. Скажем: «Христос воскрес!» Даже среди зимы... И услышим в ответ: «Воистину воскрес!»

В октябре 1999 года нашей воскресной школе исполнилось десять лет. Такие «сроки» раньше давали за веру, а теперь внуки и правнуки тех, кто за веру пострадал, в воскресных школах занимаются. Втуне трудились безбожники. Наша школа самая первая открылась в Москве. Мог бы «загудеть» и я тогда, когда за веру сажали, да Господь милость оказал, другой срок дал: десять лет с детишками — это ли не милость? Соберемся в воскресенье, если Господь здоровье даст, чайку попьем, кое-что вспомним. Может, кто-то споет или свои стихи почитает. Взрослые все стали, а я состарился. Все вокруг меня молодые, задорные, головастые, многие учатся в институтах, а в школу

все-таки приходят. Да благословит Господь нашу школу еще на много лет и не оставит своей милостью учащихся и учащихся!

С вечера стал собираться к Кате на день рождения: купил новые штиблеты, достал новые брюки, новые носки — нарядился, а то Катя скажет: «Что за охламон пришел ко мне в гости?» Она знает толк в красоте, а мне очень хочется ей понравиться. Катя — моя крестница, потому я и готовлюсь к завтрашнему дню, как к смотру. Будем сидеть у нее, чинно пить чай, истории рассказывать. У Кати историй на целый день хватит, она и в воскресной школе обычно увлеченно что-то рассказывает — заслушаешься. Они с ее крестной Леной подолгу разговаривают, у них это здорово получается. Лена зовет ее Катиш.

У Наташи, Катиной мамы, большая семья, четверо детей, но Катя там самая главная: она хозяйство ведет, как скажет — так и будет, поэтому у них в доме все спорится. На Катиш все держится: она по воскресеньям всех на службу зовет, никаких отговорок не признает. Сама впереди идет, а семья — за ней, как за полководцем. Полгода назад она возила нашу воскресную школу в Троице-Сергиеву лавру, где внимательно изучила все храмы и молилась у Преподобного.

Я все же очень волнуюсь, что она о моем наряде завтра скажет. Спросит меня, почему я пришел без подрясника, без креста, а я оделся легко, по-летнему. Вот такая у нас Катюша, завтра ей исполняется — ни за что не угадаете — один год!

Что Бог соединил, человек да не разрушает

Сегодня многие пары венчаются в церкви, не осознавая того, что такое христианский брак. А церковный брак — это прежде всего молитва, которой и создается семья. Семья — это домашняя церковь, а в церкви должны быть иконы и молитва. День должен начинаться молитвой и молитвой заканчиваться. Во время венчания поется «Святые мученицы», потому что семейный путь мученический и пройти его можно, только подкрепляясь Божией помощью.

Священник трудится в поте лица во время венчания, потому что понимает, какое важно дело совершается его молитвой. Сам Господь соединяет молодых, а молодые порой выходят из церкви и едут в дом, где нет ни икон, ни молитвы, ни упования на Бога. Поживут немного и расходятся — характерами, мол, не сошлись, а все дело в том, что не на песке нужно было строить семейный дом, а на камне, в основании его должен быть Христос, а иначе подуют семейные ветры, ссоры и раздоры — и все развалится.

Господь нам дает семью, а мы ее разрушаем. Приходят детишки на исповедь и говорят: «Я папу боюсь, он пьяный дерется и маму бьет». Сколько же детских слез в мире! Почему мы такие? Брак должен быть святым, будь он церковный или гражданский, в браке нужно учиться смирять себя ради любви, ради самого брака, ради детей, ради Господа, который нас соединил. А за детей особенно больно... Как можно уйти от собственного ребенка к «тетке»? Это уж совсем непонятно: ты дал жизнь детям, а теперь сам отбираешь у них отца: как им жить-то без тебя?

Хорошая пословица была у наших крестьян: «Жена не лапоть, с ноги не сбросишь». А здесь не только жену сбрасывают, но и ребенка в придачу.

Много лет назад исповедовался у меня один человек, у которого, кажется, было четыре семьи, и в каждой дети. Он меня спрашивает, что ему делать, а я говорю: «Этот узел никто не развяжет, носись между ними, не оставляй своей заботой и любовью никого, пока ты жив. Это твой крест, который ты взял на себя». Я до сегодняшнего дня помню его имя. Ну и зачем надо было это делать? Жизнь на земле нам дана единственная, она уже никогда не повторится, и дана единственная жена — на всю твою единственную жизнь. Это должно быть заповедью для каждого живущего. Я считаю, что разводов быть не должно. На несчастье счастья никогда не построишь, только видимость. Если даже и согрешили, простите друг друга и будьте опять вместе. Вы же одно целое.

Потеряли люди Бога, молитву, на чем должны стоять и строить свою жизнь, вот все и разваливается. Нужен духовный фундамент, а его нет. «Оставит человек отца своего, и мать свою, и прилепится к жене своей» и «что Бог сочетал, человек да не разлучает». Для кого это сказано?

В чтении Апостола на венчании апостол Павел дважды повторяет: «Мужие, любите своя жены, якоже и Христе возлюбил Церковь, и Себе предаде за ню». Вот какая должна быть любовь к жене. «Тайна сия велика есть: аз же глаголю во Христа и во Церковь».

Я был на выпускных экзаменах у иподьякона Георгия (Гоши) в Гнесинской школе. Когда я вошел в небольшой голубоватый зал, то его волнение передалось мне. Гоша подошел к фортепьяно и поклонился. Как только первые звуки полились в зал, я закрыл глаза — боялся помешать ему. Я хотел слиться с музыкой и молиться за его успех. Игра завороживала меня, я уже не думал, как он сыграет, я был весь в музыке. Я все забыл: где я, кто играет, и сорок минут пролетели незаметно. Раздались аплодисменты, на сцену поднялся другой мальчик, я его тоже внимательно слушал, но уже с открытыми глазами. Наташа, Гошина мама, сказала, что это виртуоз с мировым именем, но я не почувствовал в его музыке души; все было, но души не было. Я не дождался решения экзаменационной комиссии и поехал домой, а Наташе передал образок Божией Матери Споручницы грешных, предназначенный для Гоши. Накануне я перед ней молился, молилась и Наташа, мы были в Хамовниках в один день, но в разное время.

Я так давно не бывал на концертах, что, когда вошел в зал, почувствовал себя чужаком. Это чувство исчезло с первым звуком музыки, словно я вернулся в свою молодость. Как давно это было, театры и концерты органной музыки.

Гоша получил «отлично». Какие таланты скрываются в нашей воскресной школе! Мне нравится серьезная музыка, в ней много духовного, а музыкант, мне кажется, должен быть верующим человеком. Только тогда он по-настоящему затронет сердца людей. Есенин говорил про себя, что он «Божья дудка». Вот и нужно людям искусства быть «Божьей дудкой».

Звонки бывают разные... Когда Гоша позвонил мне под Успенье, звонок его был резкий, как набат, но все же музыкальный. Я вспомнил Войновича: одни звонки вкрадчивые, другие нахальные, третьи — сразу чувствуешь: начальство звонит, или

слышишь, что звонит приятель. Гоша предположил, что его звонок скорее всего нахальный, но я сказал: «Нет, ты же музыкант, и звонок у тебя музыкальный».

Да, каков звонящий, таков и звонок. В человеке много сокровенного, того, что скрыто от людского глаза, но передается тем вещам, к которым он прикасается. Я дотронулся до маминой швейной машинки и вспомнил маму, взял в руки Тамарину заколку, и тепло ее волос осталось у меня на пальцах. Вещи хранят память о человеке.

Сегодня я молюсь о Маше, ученице нашей школы. У нее завтра экзамен в медицинском институте. Мы всей школой молились о ее поступлении, и теперь я твержу Господу: «Умягчи сердца ее учителей, пошли им милующее сердце. Я так за нее болею, она выросла на моих глазах». Я часто молюсь об экзаменах, «учусь» в медицинском, в консерватории, в богословском институте. Я же сам никогда студентом не был, только воспитанником в Семинарии. Буду молиться и «сдам» завтра экзамен: куда преподаватели денутся от милующей десницы Божией. Господь и их помилует за милость к Маше.

27 октября 2000 года. Столетие со дня рождения Руслановой. Мама очень любила ее пение, просто расцветала, когда слушала: «Я на горку шла, тяжело несла, утомилась, утомилась, утомилась...» Шаляпин, прослушав пластинку с пением Руслановой, сказал: «Что это за русская баба с таким необыкновенным голосом? Я ее слушал и плакал...»

Жалко, мало стало русских песен на радио, и люди их редко поют дома. Мы что-то ценное потеряли: свою самобытность, то, что нас отличало от других народов. Помню в детстве застолья у соседей и песню, льющуюся по всему дому: «Из-за острова на стрежень...», «Шумел-гремел пожар московский...», «Ой, рябина-рябинушка...», «Ой, полным полна моя коробочка...», «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком...», «Раскинулось море широко...», будто сама Россия пела. Многие мы потеряли: и песни и веру...

Ехал сегодня на 26-м трамвае от метро «Шаболовка» до Даниловского кладбища. Сзади два детских голоса: «Вчера смотрели такую порнуху... Папа подошел и говорит: «Вам еще рано такую порнуху смотреть, годика так через два...» Мне все хотелось обернуться и посмотреть. Думаю: может, ошибся, может, не дети... И когда у Даниловского стал выходить, увидел: две миловидные девочки с невинными глазами лет по двенадцать. Они разговаривали в полный голос и не боялись, что их услышат. Вспомнился Достоевский: «Все дозволено», уже и скрывать ничего не надо, не надо стыдиться и таиться, так все просто. И целый день они у меня перед глазами стояли — две девчушки в шапочках. Куда они ехали и откуда? Да и зачем мне это знать, у каждого свой путь.

И все-таки Господь хранит Русь. И ждет, когда мы изменимся. Ведь едут в трамвае и совсем другие девочки, и по Москве шагают. Ради них и помилует нас Господь.

Наверное, из нашей жизни ушло слово «стыд». Я никак не могу понять, что случилось с людьми? Откуда такая обнаженность и ради чего? Что-то потеряно Божие, застенчивое, стыдливое... До боли жалко их, потерявших стыд. Я начинаю думать, что это болезнь, и ее надо лечить. Это вызов Богу. В раю Адам и Ева согрешили и прикрылись, а мы, мол, без греха, вот и не стыдимся. И такие они жалкие в своем бесстыдстве, что, если бы поняли, сквозь землю провалились бы. Да вот не понимают.

Часто стоят девчонки в церкви и стыдливо прячут глаза. Что-то в святом месте заставляет их почувствовать, что так одеваться нельзя. Но это в храме, а на улице все можно, Бог не видит, Его там нет. Мы забыли Бога и забыли свое предназначение — хранить семью, воспитывать в детях благочестие, любовь к семье, к Церкви, забыли молитву, а с ней и все доброе, что молитва дает. Если помолишься, разве так выйдешь на улицу? Да со стыда сгоришь. Забыли про Содом и Гоморру — серой Господь всех испепелил. Да не будет этого с нами. Давайте войдем в себя и увидим свою греховность. Грешные, Господи, согрешили на небо и пред Тобою. На голос Господа: «Где же вы?» — откликнемся: «Стыдно нам, Господи!» — и прикроем свою наготу.

Я не понимаю, как люди живут без Бога. Ну какая же это жизнь? Все равно как жить без солнца, без воздуха, без воды... И зачем тогда жить? Без Бога смысл жизни теряется. Наверное, этих людей удручает бессмысленность их существования, да выбраться из этого состояния они не могут, а, может, и не хотят. Закрутился человек в этой жизни, и ничего, кроме работы и семьи не видит, а самое страшное — без Бога живет. А ведь Бог и есть жизнь. Смерть в дверь стучится, а мы совсем не готовы. Страшно без Бога жить и страшно потом впасть в руки Бога Живаго. Что ответим? Не знали про Него? Да как же можно было не знать? Что мы по улице не ходим и храмов не видим? И людей нам Господь посылает, чтобы о Себе напомнить. Везде Господь всем напоминает: «Я есть». А мы Ему в ответ: «Не мешай нам жить». Скорбно на душе, когда вижу бывших друзей, живущих без Бога. Они были моими друзьями, а что я сделал, чтобы они поверили? Если и делал, то очень мало. Да и плохой пример подавал своей жизнью, плохо свидетельствовал о Христе. Каюсь в этом и скорблю. И сейчас живу не так, как хотелось бы, но без Господа совсем плохо. Он нас так любит, что за нас на Крест взошел, а мы... Чем мы отвечаем на Его любовь? Мало того, что Его заповеди не исполняем, мы вообще Его не признаем. Скорбит и болит моя душа за этих людей, а особенно за бывших друзей. Нет-нет да и помяну их на молитве. Может, услышит меня Господь и помилует их и меня, наигрешнейшего иерея Божьего, и покроет нас своей милостью и любовью.

Один человек подошел ко мне в храме за советом: «Батюшка, моя жена говорит, что воспитывает детей, следит за домом, да не понимает, какой в этом всем смысл. Для чего жить, если мы все равно умрем?» Ответ прост: со смертью не кончается жизнь, смысл земной жизни заключается в приготовлении к жизни вечной. Земная жизнь и небесная — одно целое, которое не следует разбивать. Веру в вечную жизнь нужно поддерживать молитвой, церковными таинствами, нужно не давать угаснуть огоньку веры, подобно тому как мы поддерживаем огонь в костре, подкладывая в него веточки и поленья. Да и все, что Господь посылает нам в этой жизни, служит тому, чтобы поддержать в нас веру,

надо только уметь увидеть свою жизнь с Божьей стороны. Если не видишь смысла в жизни, то жизнь свою нужно пересмотреть. Призови Господа, не мудрствуя лукаво, и Он тебе откроет, для чего ты живешь.

Завтра день самарянки. Чем же она так прославилась? Она пришла за водой к колодцу Иакова, как испокон века ходили все женщины Самарии. У нее были свои заботы, да и жизнь не удалась: сменила пять мужей. Кто был в этом больше виноват — нам неизвестно. Обычная жизнь. Но вот женщина эта, самарянка, не совсем обычная.

Как только она почувствовала, что перед ней Человек необыкновенный, тут же стала задавать вопросы, где молиться и как молиться, а потом привела Его в свое селение. Не побоялась, хотя самаряне были во вражде с иудеями.

Мне кажется, во все века, во все времена, у всех народов всегда была тяга к духовному. Люди заблуждались, но искали Бога! У нас это отбито в советское время безбожной властью. Но советской власти больше нет. Что же мешает людям тянуться к духовной вечности? Наше равнодушие. Без Бога как-нибудь «прокувыркаться» 70-80 лет можно. Но как уходить отсюда? Вот вопрос. Да и эти семьдесят-восемьдесят лет человек живет по милости Божьей, по Его любви к нам, грешным. Взяли бы в руки Евангелие да случайно наткнулись бы на самарянку, может, и изменились бы. А так ведь можно прожить всю жизнь, жениться и разводиться, таскать воду из колодца, но не встретить Христа.

Колодец с живой водой всех нас ждет. Это храм Божий. Приходи со своим кувшином и обязательно у этого колодца встретишь Господа, и Он ответит на все твои вопросы. Только почаще ходи и обязательно встретишь!

*У людей пред праздником уборка.
Вдалеке от этой суеты
Обливаю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои...*

Приболел я сегодня, никуда не поехал, ни на могилки, ни в Хамовники, а решил убрать дом: пропылесосить, вымыть полы, постирать... Переделал все, а вечером лег и вспомнил эти строки. Если не убрал бы квартиру, то, наверное, и не вспомнил бы, а когда-то давно это стихотворение Пастернака меня поразило, и я часто повторял его про себя.

В этих строчках сразу оживают евангельские времена: Спаситель заходит в дом Своих знакомых, и женщина душистыми маслами омывает Его ноги... после долгой ходьбы по дорогам и городам. А можем ли мы сегодня так принять Христа, обмыть Его ноги и посадить ужинать? Я подумал об этом, когда прочитал статью о «святом докторе», так звали Федора Петровича Гааза, и о девочке, которая была больна страшной болезнью, заживо гнила, и к ней не могла приблизиться даже ее родная мать. Доктор же обнимал и целовал больную, миром своего милосердия врачевал раны страдающему Христу. Гааз встретил Христа в страдающем человеке и не отвернулся... Милости от нас хочет Господь... Он не будет с нас спрашивать на Страшном Суде, двумя перстами крестились или тремя, к какой конфессии принадлежали, а спросит, пожалели

ли мы человека в беде, помогли ли, утешили ли. Федор Петрович все свое огромное состояние истратил на нуждающихся, на арестантов, и Господь дал ему за это такое духовное богатство, которое ничем нельзя измерить.

Некоторые говорят, что католики не спасутся, а Федор Петрович был католиком. На его памятнике высечено «Спешите делать добро». Что же мы, православные, только за одно название наше спасемся? Только за то, что мы православные, Господь поставит нас справа от Себя? Давайте лучше тем миром, которое еще есть в наших сердцах, омоем раны страждущим, по примеру доктора Гааза, может, Господь нас и не отринет...

*Обливаю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои...*

Во Всемирном совете Церквей идет диспут о том, можно ли молиться с протестантами. Надуманная проблема. Из разных концов Земли, от людей разных вероисповеданий к Богу поднимается молитва. Бывают минуты, когда и неверующие с воплем о помощи или со словами благодарности обращаются к Богу. Человечество молится столько, сколько оно существует. Как можно в мировом масштабе запретить людям молиться вместе? Почему мы не чувствуем себя единым человеческим родом? Пространство и время не имеют значения: в разных ли странах или в одной комнате, молитва устремляется в вечность и не нам ею управлять. Не нам и судить, чью молитву примет Бог, а чью не примет: из Евангелия мы знаем, что принята была молитва смиренного мытаря, а не гордого фарисея, считающего себя лучше других.

У нас в храме за воскресной службой молились четверо протестантов: они отстояли литургию, водосвятный молебен, я окропил их святой водой и сказал, что мы рады, что их молитвы присоединились к нашим. Что же я должен был попросить их выйти из храма, потому что наши прихожане не могут с ними молиться, потому что их молитва не достойна подниматься к Богу? Это было бы чистым фарисейством с моей стороны. О чем спорят в совете Церквей? Радоваться надо, что прошения и благодарения из разных церквей обращены к Богу и что нас всех объединяет молитва, делая нас братьями и сестрами во Христе. В утрени есть прошение: «Еще молимся за всю братию и за вся христиане». Так наш протодьякон переделал его в прошение «за вся православныя христиане». Мы, значит, пусть спасемся, а остальные — погибнут.

О какой христианской любви здесь может идти речь? Ко всем христианам, кроме православных, ненависть. Но ведь ненависть с любовью жить не может. Значит, и на «своих» рано или поздно она тоже изольется. Как же можно служить милостивому Богу любви с таким немилующим сердцем? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею: нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». (1 Кор. 13, 1-8).

21 марта 2000 года. Я сегодня был у Споручницы: на второй день своего праздника Божия Матерь вся в цветах. Попросил цветок от Ее иконы, поклонился и вытянул маленькую красную гвоздичку. Девушка сделала мне замечание: «Зачем Вы, так нельзя». «Я батюшка, мне разрешили, да и цветочки сегодня будут обновлять». Обрадовалась: «Простите, ой, простите меня, и ничего не объясняйте, раз Вы священник...» А я привез цветочек домой и положил у иконы Споручницы, и у меня тоже стал праздник. Такая чудесная веточка гвоздики, и такое от нее благоухание. И как бы нам ни казалось, что мы в этом мире и теснимы и гонимы, надо с улыбкой смотреть на зарю и «на земле нам близкой и любимой» за все благодарить Бога. Вся в цветах Божия Матерь, всех благословляет, всех любит, всех защищает и за всех поручается. Я помню с детства, что сами ангелы прилетают к Ее образу с райскими цветами и закрепляют их вокруг иконы, а чуть цветы завянут, они тут же приносят свежие и меняют Богородичный венок. Если прислушаться, можно услышать шелест их крыльев и как они вокруг образа парят, а благоухание разносится по всей Москве.

Вся в цветах Божия Матерь. С этим видением я сегодня и заснул, а встану, опять пропою Ей акафист: праздник продолжается... Радуйся, Заступница усердная рода христианского, от Бога нам дарованная!

Неделя о блудном сыне

Разрывается душа моя в неделю о блудном сыне. Это я убежал от Отца, убежал-умчался очень далеко... А Он меня ждет, ждет, что я вернусь, потому что очень любит. А я, неразумный, все не иду, все чего-то выжидаю, не оправдываю Его любви... Доколь? Стонет моя душа в тоске, томится... я сегодня через лес шел и плакал, слезами заливал дорожку: не так жил, не так живу, а ведь все зависит от меня, «и похабничал я, и скандалил, для того чтобы ярче гореть...» Вот и сгорел. Господи, куда мне идти? Только к Тебе, Ты не отринешь, выбежишь навстречу, обнимешь, введешь в Свой Дом и сделаешь из моего возвращения праздник. А у меня нет сил, только стыд и страх. Но я все-таки приду к Тебе. Душат слезы, рвутся на волю, выплакаться бы, залить все слезами покаяния. Отца бы увидеть... Господи, бегу, бегу и падаю, и опять поднимаюсь, дай силы добежать, дай силы припасть к Тебе, пожалей...

Я сейчас много плачу: о себе, о других, всех мне жалко, и скорбящих, и обремененных, и больных. Услыши, Господи, мой вопль, я на плач о них Тобой поставлен. Поплакал сегодня и на могилах, и в храме в Хамовниках у Божией Матери. Особенно горько плачу в лесу, здесь только деревья, снег и я.

Иду, иду к Отчему дому, да никак не дойду, не получается. И так каждый день. Никак не вернусь из далекой страны, все блуждаю. А вернуться надо: в лохмотьях, в грязи, но возвращайся, ждет тебя Отец, на пороге стоит и на дорогу выбегает, все глаза проглядел... А ты все думаешь, что еще не время. Поторопись, а то поздно будет.

«Не губите деревья, не губите...» Помолитесь за меня, помолитесь... Я дерево, не приносящее плода. И меня надо срубить. Помолитесь, чтобы этого не случилось. Плачу и рыдаю о своих грехах.

Мне очень нравится мысль старца Силуана о том, что когда Господь дает скорбь о ком-нибудь, то это значит, что Он хочет помиловать дорогого тебе человека, независимо от того, здесь ли он или ушел из жизни! Есть особая молитва, когда сердце о ком-то скорбит, да так скорбит, что слезы льются. Господь помилует того человека, о котором скорбит душа, а тебе остается только молиться, денно и (если получится, то и) ночью. Как чудесно выразил это старец Силуан. Огромный подвижнический опыт подсказал ему такую чудесную мысль. Преподобне отче Силуане, моли Бога о нас!

*

Мир лета Господня сходит на землю, возвращается жизнь, цветение, голоса птиц, зеленые листочки. До Воскресения Христова осталась всего неделя, а сколько осталась до Всеобщего Воскресения — никто не знает.

Господь дал мне еще один день жизни, а я его опять прожил не так, как надо. В детстве думаешь: какая большая жизнь впереди! А в старости вздыхаешь: где оно, твое детство? Мальчишкой я заходил в Хамовнический храм, теперь захожу дедушкой — так незаметно прошла жизнь. Был мальчишкой, стал стариком, а храм остался прежним и приглашает меня в гости к Богу. Сейчас многие приходят к Богу, но еще больше людей проходят мимо. Они тоже спешат к Господу, только сами того не видят, что бегут к Господу, думают, что спешат на работу, в магазин за хлебом, а по существу бегут к Богу, Который ждет их в конце пути. А к кому еще бежать? Весь мир бежит к Тому, Кто его создал, и я бегу, спотыкаюсь, падаю, поднимаюсь и опять бегу, бежал мальчиком, бегу и стариком... Сейчас даже быстрее, чем в детстве, время подгоняет. Бег должен когда-то закончиться, и наступит покой, потому и называют ушедших покойниками, им уже некуда торопиться. «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, рабу Твоему...» Через всю человеческую жизнь тянется эта ниточка к вечному покою, только бы кончина наша была безболезненна и непостыдна, в мучениях да грехах страшно уходить, и когда душа с телом расстается — тоже очень страшно... Страшен сон, да милостив Бог. Вот и будем надеяться на Его милость, и малые и старые.

Только версты полосаты попадаютс одне...

Версты моей жизни: когда-то, в начале пути, они не осознавались: путь жизни только начинался и впереди простиралось необъятное время. Как теперь жалко упущенного времени, хотя и оно чему-то научило. Верстовые черно-белые столбы... Как их проехал? Как прожил? Хочется спросить сами версты: «Как жизнь?» Смеясь отвечают: «Жизнь? В полосочку: белая полоса, а за ней черная. Как у всех». Я так понимаю: если с Богом живешь, то полосочка белая, а без Него — черная. В какие-то моменты я забывал Бога, и становилось темно, наступала сплошная черная полоса. Потом по молитвам мамы выкарабкивался: слава Богу, пронесло. А жизнь в полосочку продолжалась: очень хотелось быть с Богом, но черные полосы мешали, а белых было так мало.

Версты по-прежнему мелькают, но когда-то бег закончится, и наступит отдых. Когда-то и я погружусь в покой, а пока «только версты полосаты попадаютс одне...»

Вербное воскресенье. Теплый апрельский вечер: ласковое заходящее солнце, почти совсем зеленые деревья, сквозь небольшой туман просматривается церковь Петра и Павла, видны ее голубые купола с золотыми звездочками... Солнце садится, чтобы выспаться, отдохнуть, а завтра опять светить и греть... Солнце в ярком оранжевом круге, посмотрел и ослеп, не вижу, что пишу. Вербный, благодатный солнечный вечер, как будто Господь спустился на нашу грешную землю, редко так бывает... Господь через природу посылает Свой мир в душу... Никто так не может успокоить, как Он. Значит, от Него надо все принимать, а мы упрямые, часто стоим на своем, как дети малые, только бы все было по-нашему.

Яркая зелень на деревьях... Вербное воскресенье, вербочки, а в Иерусалиме пальмовые ветви, Господь их вырастил для Своей встречи... Стоят дома вербочки последних трех лет. «Верба хлѣс, бей до слез» — так мы говорили, придя из церкви, били друг друга веточками вербы и приговаривали: «На здоровье Тамаре, маме и Славе». А сейчас нет моих близких, и веточкой меня ударить некому, нет и здоровья, а вербочки стоят. Я их по утрам целую: они ласковые, пушистые, за эти годы не потеряли своей нежности, только чуть-чуть высохли.

Березки покрываются зеленью, готовятся к встрече Троицы, она еще далеко, но не за горами, веточки березы украсят храмы и наши жилища. Пчела полетела, то ли спать, то ли что-то искать... Сразу чувствуется благодатная перемена в природе. Какой чудный мир вокруг нас!

Начинается Страстная... Что пошлет Господь грешному батюшке... как посетит... какой скорбью и болезнью... вынесу ли? «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми». В эти скорбные Страстные дни, посети и укрепи...

Скоро Пасха, немного уж осталось. Пасха зеленая и теплая: яички, куличи, пасхи, и на столиках освящение, а потом разговение... всем, кто постился и не постился, по слову Иоанна Златоуста. «Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь днесь». Пасха по всей земле, по всей Вселенной, и так сорок дней, и каждое воскресенье, и всю жизнь, как у Серафима Саровского: «Радость моя, Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» — отвечает вся земля, и небо, и реки, и моря, и звезды, и облака, и вся тварь поет и веселится. Радость Воскресения пришла ко всем нам!

Я ехал на Светлой седмице мимо храма Петра и Павла в Ясеневе, а рядом со мной в автобусе сидел мальчик лет десяти с мамой. Я перекрестился на храм, мальчик посмотрел на меня внимательно, и неожиданно, очень серьезно глядя на меня... тоже перекрестился, и крестное знамение совершил очень правильно.

Я с детства любил креститься на наш Николо-Хамовнический храм, и мне хотелось, чтобы все это видели: вот я какой, посмотрите на меня, что же вы все куда-то спешите и не замечаете храма. Обычно ведь никто не крестится, проходя мимо храма, ни старые, ни молодые, и детям не с кого брать пример. Но должно ведь рядом с храмом возникать чувство благоговения, рядом с домом, в котором обитает Бог. Господь везде

присутствует, но в храме Он предстает зримо, здесь Его обитель, в которой все напоминает нам о Нем. Он же претерпел крестные муки, и Его Крест на мне.

*Запели тесанные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.
Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.*

Зачем ставились храмы, часовни, кресты на дорогах? Напомнить о Господе. Как хорошо, когда видишь, что кто-то крестится, на душе светлее становится, радостнее. Но это, конечно, должно быть естественно, не напоказ. Раз храм, раз крест, значит, и рука осеняет тебя крестным знамением. Когда крестимся, мы как будто Крест Христов берем на себя. Что же здесь зазорного? Вот сейчас стало принято ставить часовни с крестами на местах, где стояли разрушенные коммунистами храмы. Это ведь тоже крестное знамение, только в камне. Ну как тут не перекреститься? Побольше бы мы крестились, поменьше бы творили злых дел, ограждали бы себя от всякой нечисти. Ведь когда ложимся спать, то крестимся и говорим: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением». Все плохое погибнет, исчезнет. Вот что такое крестное знамение! Просветлеют наши улицы, посветлеют лица, и Господь всегда будет с нами.

Все кругом мельтешит, все куда-то несется, а я в этом водовороте пытаюсь что-то сделать, чтобы люди неслись в сторону Бога.

Сегодня ехал на эскалаторе и перекрестился. Я думал, что никто меня не видит, а напротив на эскалаторе стояла женщина и внимательно на меня посмотрела, очень внимательно. Останется ли что-нибудь в ней от моего крестного знамения?

Нищие бабушки тоже крестятся... Стоят и напоминают нам о Христе: «Подайте ради Христа». Милостыня есть милость. Миловать мы должны друг друга, а нас за это помилует Господь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас...

Петр и Павел час убавил...

Храм Петра и Павла всегда виден из моего окна: голубые купола со звездочками радуют и успокаивают. Я читал, что этот храм расположен на самом высоком месте Москвы, его издалека видно. Я молюсь апостолам Петру и Павлу и дома, и когда иду через лес. Мама несколько раз в этом храме молилась, ездила на метро до Битцевского парка, а там пешком. Храм стоит на опушке леса: я как-то молился в алтаре, окна были открыты, лесной воздух наполнял храм, удивительно благодатное место. Если б люди побольше тянулись к Церкви, жизнь была бы другая, меньше было бы ссор, обид и войн.

Середина лета, макушка лета, Петр и Павел час убавил — значит, ночной молитвы кому-то прибавил. А мой взор опять обращается к храму, он зовет меня к себе...

На Ильин день похолодало. Я тепло оделся и подумал: «Вот как хорошо было бы, если бы на душе всегда было так тепло, как в этот праздник». Господь посылает такие «теплые» дни, что и холод нипочем. А осень уже дает о себе знать. С Ильина дня и вода в прудах и озерах прохладная, и даже говорят, что купаться теперь нельзя. В прошлом году я купался в Воронках аж на Успение. Искупался — как заново родился.

На Ильин день грома не было, только к вечеру дождик, такой славный, тихий. Милость оказывает пророк Илья, любовью все покрывает: авось одумаемся и начнем другую жизнь, более праведную. Закат красивый над лесом, оранжевый. Тихо-тихо подступает осень... Посижу на лоджии, а потом в комнату перейду, там потеплее — иконочки, лампадки, кругом Тамарино тепло, тепло ее души, оно никогда не выветрится.

Завтра Преображение Господне. Сорок лет назад я впервые поехал в Архангельское, Тамара везла меня в свои родные места. Мы ехали в автобусе, кондуктор объявлял остановки, справа вдруг возник огромный храм из красного кирпича. Он был черным от копоти, без колокольни, без крестов; двор, полный машин, был окружен дощатым забором — печальное зрелище. Кондуктор назвал остановку: «Спас Преображения». «Как хорошо, что хоть название осталось», — подумал я.

Прошли годы, и Господь спас Свой храм. Сейчас он сияет новой, преображенной красотой. Я многие годы трижды пою тропарь Преображению, проезжая мимо этого храма: «Преобразился еси на горе Христе Боже, показавый учеником славу Твою...». А сколько преобразилось и возродилось храмов на Руси. Благодарить надо Бога за время благоприятное.

Как быстро проходит лето, и как быстро проходит жизнь. Как лето наполнено цветами, ягодами, грибами, орехами, так и жизнь человеческая должна быть наполнена молитвой. А мы чем только ее не наполняем.

Некоторые — футболом. Не перестаю удивляться: взрослые люди живут этой игрой. Ну, ладно, мальчишки. На то оно и детство, чтобы одним в куклы играть, а другим мяч гонять. Но время игр заканчивается, наступает взрослая жизнь. А тут взрослые дяденьки и тетеньки всерьез заворожены футболом. Во время матча с японцами один молодой человек на Манежной площади вскрыл себе вены, потому что наши проиграли.

Жизнь так коротка, и она вовсе не игра. Ведь все прекрасно знают, чем она кончается. В чем же для этих людей смысл жизни и кто останется в выигрыше? Во время матча Англии с другой какой-то командой экономика страны упала, потому что никто не работал и по магазинам не ходил. Все футбол смотрели. Чушь какая-то. Как тут Райкина не вспомнить: «Двадцать два бугая гоняют один мяч, друг у друга отнимают. Дать бы каждому по мячу — и дело с концом». Он прав. Взрослые люди орут, кричат, дерутся, даже убивают друг друга. И о чем их Господь в вечной жизни спросит?

Сколько голов забили и сколько матчей посетили? Нет, дорогие мои, боюсь, там о другом спросят. Не прошел ли ты мимо бедных, больных, голодных? Где там, ты в это время в футбол гонял. А где же было твое милосердие, а любовь, а молитва? Скажешь: не знаю, я футбол смотрел...

Комсомольский проспект теперь пустынен: магазины есть, а людей очень мало. И в магазинах есть все, не нужно кидаться из одного в другой в поисках какой-нибудь вещи. Раньше все что-то искали, бежали, а по дороге друг друга спрашивали: «Где достал?» А если где-то что-то «выкидывали», то тут же выстраивалась огромная очередь. Помню, как люди стояли у магазина «Синтетика» за искусственными шубами, занимали очередь с вечера и стояли всю ночь, на ладонях химическим карандашом номера писали; дальше по проспекту колбасный магазин битком набит и на улице очередь; следом магазин «Уют» — там стоят за обоями и фарфором, вокруг милиция; «Дары природы» — очередь за медом, медовой коврижкой; «Русский лен», а льна нет, и никто не знает, когда будет; гастроном — простояли два часа за мясом, а достались только кости; овощной набит до отказа — апельсины дают... В кондитерском ни конфет, ни шоколада, зато дают дрожжи, взяли килограмм (какое счастье!) — на Рождество и на Пасху хватит; телевизоры и холодильники дают по открыткам; в рыбном достался лосось, а в аптеке, говорят, но-шпа появилась, давали только по рецептам, но уже кончилась...

И еще говорят, что при советской власти было хорошо. При ней было... да, слава Богу, кончилось! На Комсомольском теперь тишь да гладь: ни очередей, ни беготни, нет у меня денег на севрюгу, так купил трески, и безо всякой очереди: помолюсь, да съем... Лишь бы мне только без этой власти пожить, как ее... советской!

Черный день календаря

7 ноября утром у Споручницы было тихо-тихо, в храме никого... Обычно в это время народ, суета, молебен. На улице встретил женщину с нездоровым выражением глаз. Поравнялись. «С праздником вас!» — «С каким праздником?» Она ликующим голосом: «Красный день календаря, день седьмого ноября!» И дальше в том же духе. Я улыбнулся, вижу — больная. Самый печальный и черный день для России... У псалмопевца Давида написано: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог». Надо быть безумцем, чтобы этот день называть праздником, безумие посетило какую-то часть людей, и вылечить этих людей может только вера и призывание имени Господа нашего Иисуса Христа. Бродят безумцы по городам России, машут красными тряпками и кричат что-то несвязное о какой-то счастливой и светлой жизни без Христа... Семьдесят лет строили и ничего не построили. Так и не поумнели. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. А если ведают, тем хуже!

Вместе с развалом Союза исчезла бурная коммунистическая деятельность, а с ней плакаты, красные знамена, портреты. Правил бал в той России сатана, но люди не хотели этого замечать. Я, например, не мог сам поздравлять с ноябрьским или майским «праздником» и отвечать на эти поздравления — с души воротило, не мог видеть на

экране телевизоров всю эту коммунистическую рать — Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. Когда показывали Ленина, меня начинало поташнивать, и я старался уйти в другую комнату. Демонстрации с красными тряпками вызывали отвращение, а люди, несущие их, — жалость. Я старался в дни коммунистических праздников не подходить к телефону, чтобы не отвечать на поздравления, и удивлялся: с чем люди поздравляют друг друга? Разве можно эти дни считать праздниками? Мы с мамой их не признавали, но родственники Тамары поднимали бокалы, со счастливыми лицами закусывали колбасой сервелат, достававшейся по блату. Я сидел за столом и не знал, куда себя деть. Вся жизнь была связана с доставанием, об этом человек думал с утра и до самого вечера. Носки надо было доставать, костюм, ботинки, сапоги, юбки, рубашки, носовые платки, мыло, масло, мясо — буквально все, а потом сидеть и пить за эту власть. Недаром отец Димитрий Дудко в те годы говорил: «Все здоровые люди — в сумасшедшем доме, а сумасшедшие — на воле». Но люди все это забыли и тоскуют по «счастливым» дням, куда им так хочется вернуться, хотя бы в кошмарном сне!

На мавзолей до сих пор не могу смотреть спокойно, отвожу глаза, это самая настоящая «мерзость запустения», стоящая на «месте святе». Если меня в метро спрашивали, как пройти к Библиотеке им. Ленина, я отвечал: «Не знаю», — хотя библиотека была под боком. Если спрашивали, в какую сторону выйти из метро к мавзолею, я отвечал, что никакого мавзолея у нас здесь нет. Мама называла Ленинский проспект Рогачевским, потому что Ленин — рогатый. Постыдные нам остались названия от коммунистов-разбойников: комсомольские, ленинские, марксистские, безбожные проспекты, улицы, переулки (кстати, и сейчас еще такой переулок существует — Безбожный). Ждут что ли эти улицы и переулки своих хозяев? Я прочитал в «Литературной газете» статью одного бывшего диссидента, которого когда-то упрятали в психушку. Вот что он пишет: «А Ленинский проспект, газета «Московский комсомолец», театр «Ленком»! Я не в состоянии пойти туда — это все равно, что пойти в театр, носящий имя Гитлера!» А мы ходим по улицам с такими гадкими названиями, и нет у нас отвращения к ним, значит, мы не переменились. То, что в нас заложили советские годы, в нас и осталось. Но даром нам это не пройдет. Правда, многие названия вернулись: Петербург, Тверская, Охотный ряд, Хамовнический район, Якиманка. Чувствуете, как стало светлее на наших улицах? И совсем просветлеет, если мы уберем с них эту коммунистическую нечистоту. Не должна первопрестольная столица носить дьявольские названия. Самое главное, давно пора убрать со святой Красной площади мавзолей с мумией Ленина.

Миром Господу об этом помолимся, о еже отвратится нам от этих названий, и избавится от идола и от его мумии, оскверняющей святое место.

Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Сегодня на кладбище шесть военных музыкантов натужно играли путино-алексеевский гимн. Их окружала толпа из военных и штатских, а красный гроб с черными лентами качался на руках. Мелодия неизбежно вызывала слова о нерушимом союзе республик и никак не вязалась с местом вечного упокоения, оскверняла святое место. О чем думали люди, голосовавшие за мелодию гимна большевиков, уничтожавших храмы, священников и верующих? Пришло ли им в голову, что этот гимн будет звучать на кладбище при последнем прощании как кощунственная насмешка над

усопшими? Как можно было принять столь антинародный и антицерковный гимн? Никакие новые слова его не изменят, так и будут звучать имена Ленина и Сталина, скрывающиеся внутри мелодии. А они были предтечи Антихриста, которых мы никак не можем убрать из своей жизни, даже в мир иной вынуждены уходить под их мелодию. За большие грехи нам такое наказание.

Я увидел брошюру, на которой изображен Зюганов на фоне иконы Божией Матери. Какое нелепое сочетание! Коммунисты убивали, вешали, расстреливали, жгли, издевались, пытали, рушили храмы, и вот теперь Зюганов хочет войти в союз с Православием якобы для того, чтобы спасти Россию. А некоторые архиереи при этом клянутся ему в любви на страницах газет.

Недавно Москву потрясли чудовищные взрывы. Представим себе террориста, который сам не подкладывал взрывчатку под дома, но числился в одной из банд. Придет он к нам и предложит свою помощь по спасению оставшихся московских домов. Поверите вы этому человеку? Наверное, не поверите, а вызовете милицию. Так господин Зюганов состоит всю свою сознательную жизнь в коммунистической партии, которая уничтожала людей и храмы, и он хочет быть с нами в союзе... Это будет союз христиан с отцом лжи, с дьяволом. Не поможет он нам спасти Россию, а ввергнет всех нас в погибель. Оградите себя крестным знаменем от таких союзников. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, да бегут от лица Его ненавидящие Его!

«Много званных, да мало избранных». Господь нас зовет на Свою вечерю, а мы отказываемся от небесного пира и спешим на земной. Мы выбираем тех, кто обещает нам земные блага. Так Россия в свое время выбрала коммунистов, да и сегодня многие голосуют за тех, кто обещает сытую жизнь без Бога. От брачного пира у Бога нас отвлекает привязанность к земному, пристрастие к суете.

Часто слышу, что при советской власти было и хорошее: бесплатные пионерские лагеря, калорийная булочка стоила десять копеек, инвалиды Великой Отечественной войны не стояли с протянутой рукой, здравоохранение было на высоте.... И никто не задумывается о том, какой ценой все это было куплено. Главным в советской системе было обезбоживание: Бог изгонялся отовсюду. Перед войной даже была безбожная пятилетка. Как тут не вспомнить слова сатаны, искушавшего Господа в пустыне: «Все (...) тебе дам, если падши поклонись мне». Поклонились мы и получили дешевую колбасу, бесплатное лечение, путевки в санатории, о которых многие сейчас вспоминают с ностальгией. Советские дары были не от Бога, а от Его врага, и давались за то, что страна отвернулась от Господа.

В голодное послереволюционное время, когда возникли первые закрытые магазины спецобслуживания, в одном из них висело объявление: «Повидло царевубийцам выдается вне очереди». Этот плакат да повесить бы на мавзолей! И все, кто за большевиками-царевубийцами пошел, получали позднее в течение 70-ти лет свое «повидло вне очереди». Но воландовские эти затеи ничему нас не научили, и мы по-прежнему продолжаем сегодня искать земного благополучия без Бога. В конечном

итоге получаем то же повидло, за которое просто убийцам надо постоять в очереди, а для получения его вне очереди нужно стать цареубийцей.

Вот откуда пошла традиция обслуживать орденосцев в магазинах, парикмахерских и даже в банях — вне очереди. Я это понимаю так: если ты воевал за большевиков, за коммунизм, за советскую власть — получай свое повидло! А если воевал за Русь, за веру, за народ, то выброси эти побрякушки с изображением цареубийц! Зачем они тебе? «Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша на небесах!» Моя мама была вдовой погибшего на войне, но не пользовалась никакими льготами. «Папа твой голову сложил за Россию, — говорила она мне, — какие же могут быть льготы? При чем здесь колбаса и мясо?» Ей этого большевистского повидла было не нужно. Господь ее и так питал...

Удивительно, что даже многие верующие люди этого не понимают. Не нам ли сказал Спаситель: «Ищите прежде Царствия Божия, и остальное все приложится вам». А мы не только искали «всего остального», но и отказались от Бога, поэтому все и рухнуло. Продались мы за похлебку чечевичную и оказались у разбитого корыта. Продались, да не раскаялись. Тоскуем по чечевичной похлебке и не понимаем, какую цену мы за нее заплатили.

«Все тебе дам, если падши поклонись мне». Многие поклонились. Да не будет больше этого с нами, а не то погубим совсем Россию.

В «Литературке» заметка: утонул мужчина, его вытащили и накрыли простыней. Подростки разбегаются и, перепрыгнув через него, ныряют в воду. В пяти метрах мамы с маленькими детьми пьют лимонад, едят. Дети бегают вокруг утопленника, визжа от восторга.

Включил я сегодня радио в 6 утра. В Москве опять взрыв, гибнут люди. По радио сообщают трагические новости и тут же передают веселые песни, дуэты из оперетт. Сто человек пострадавших, семь ушли в иной мир. Следом веселый голос диктора: «Доброе вам утро, начинаем день с зарядки...» И под музыку «раз-два, побежали, быстрее, быстрее...» Мне почему-то захотелось начать этот день с молитвы за погибших, за обожженных, за тех, кому очень плохо, а то получается пир во время чумы. Хотя бы один день надо было воздержаться от веселых песен и радостных передач. Или уже привыкли и нам все нипочем? Петь будем, гулять будем, а смерть придет — помирать будем? Как сказал поэт, душа должна грустить о небесах, она не этих нив жилища... Погрустить бы об ушедших, о своей неудавшейся жизни, просто встать и помолиться. Правда, не все такие безразличные, двести человек сдали свою кровь.

По усопшим сорок дней близкие ходят в трауре, скорбят и молятся. А разве погибшие в переходе на Пушкинской площади нам не близкие? Надо бы всем поскорбеть и помолиться за них. «Доброе вам утро и давайте помолимся...» И передать по радио молитву православного батюшки, муллы и раввина. И детишек бы поставить на молитву — ведь люди погибли. Завтра буду служить и, как умею, помолюсь, чтобы Господь подкрепил тех, кто в больницах, и упокоил в Своих селениях тех, кто уже никогда не встанет. Все мы под Богом ходим.

Трехлетняя девочка Оля оказалась в переходе на Пушкинской с папой во время взрыва. Чудом избежав смерти, она сказала: «Нас с папой убило, а мы остались живы». Ее мама в это время была у «Детского мира» и отчетливо услышала крик своей дочки: «Мама, мамочка!» Неверующая мама вдруг взмолилась Богу: «Господи, помоги, спаси их, только бы были живы!»

Последнее время нас посещают бедствия: Пушкинская площадь, подводная лодка... Сейчас услышал по радио — горит телебашня. Хорошо бы обошлось без жертв. Пламя на 450-метровой высоте — факел. Может, он осветит закоулки нашего сердца, выявит то, что есть темного и греховного в нас. Кругом столько порока, и порочны все мы. Не Господь нас наказывает, это мы сами делаем своими руками. Молю Бога о том, чтобы не погибли на Останкинской башне люди. Что-то есть в ней общее с библейской, Вавилонской. Один ресторан «Седьмое небо» что стоит! Передают, что рухнули лифты, а в них люди. Молюсь, чтобы остались живы. Господи, помилуй их! Опять горе и слезы. Ну зачем, зачем надо было лезть так высоко, на это «Седьмое небо»? Неразумные мы. Завтра праздник Успения Божией Матери. Не оставить ли нам наши дела, не попытаться ли хоть немного изменить себя: пойти в храм к Божией Матери и попросить Ее защиты от этих напастей?

Много лет назад крестил молодого паренька. Перед крестинами с ним разговорился и понял, что он — неверующий. Он и сам признался, что в Бога не верит. Я ему говорю: «Крестить не буду», а сам вижу, что ему это не безразлично. Иначе зачем же он пришел и заплатил по тем временам немалые деньги — тридцать пять рублей? Стоим друг перед другом: он не уходит, и я не ухожу. И вдруг: «Батюшка, ну окрестите меня, я вас прошу. Я потом поверю». И вы знаете, я не смог отказать. Если бы вы видели, какой он стоял в купели: не шелохнувшись, крестился и молился. Ушел радостный. Я думаю, вера к нему придет, а может, уже пришла. Бывает так, что люди умом не веруют, а в сердце у них живет Христос: они Его чувствуют, но умом пока не принимают.

— Есть крестины?

— Да вон девушка у дверей стоит.

Я посмотрел — стоит и плачет, как тот мытарь, и даже в храм не проходит. Я сам подошел:

— Чего плачешь?

— Да вот была уже в пяти храмах, и нигде не крестят, говорят — неподготовленная.

— Я тебя окрещу, не прогоню за твои слезы.

Обрадовалась, заулыбалась...

Крестил девочку Таисию девяти лет. Держится уверенно. Решил спросить, знает ли молитвы. «Знаю, только одну». — «Какую?» — «Отец наш». — «Ну, прочти». Оказалось, молитву «Отче наш» она знает на русском языке: «Отец наш, который на небе и на земле». (Стоит задуматься: русский язык сам входит в нашу службу.) Я ей сказал, чтобы

пришла причащаться. Крестная обещала с ней прийти. Запоют «Отче наш», девочка услышит, поймет, что слова знакомые, почти такие же, и ей будет радостно, что она все понимает. Я подарил ей свою книжку. Повзрослеет, откроет и вспомнит свое крещение, и храм, и меня, грешного. Хорошо с детишками. Они все принимают всем сердцем, радостно и с верой, и как хорошо было от нее слышать «Отец наш, который на небе и на земле» и о Котором мы, взрослые, так часто забываем.

Три Славы

Когда я пришел служить в Антиохийское подворье, на клиросе пели два Вячеслава Николаевича. Если мне не изменяет память, то я тоже Вячеслав Николаевич. Один Вячеслав Николаевич позднее куда-то исчез, а второй оказался отцом чудесной большой христианской семьи. Сам он и его супруга тридцать четыре года поют в Церкви, на моих глазах подрастали их сыновья: Женя, Леша, Аркадий и Николай. Женя теперь протодьякон в Елоховском соборе, Леша прислуживает в алтаре, а Николай — священник у нас в Антиохийском подворье. Дочка Маша и ее муж Ваня вместе с главой семейства поют в хоре.

В течение многих лет на день святого князя Вячеслава Чешского в подворье поздравляли двух Вячеславов. А недавно у Маши и Вани родился третий Вячеслав Антиохийский, и мы его крестили в широком семейном церковном кругу. Редко можно видеть такое крещение: два священника, тезка и родной дядя, ведут службу; восприемник — тоже родной дядя, обладатель бархатного баритона отец Евгений. Счастливое семейство, поющее славу Богу о новорожденном Славе! Пусть продолжается и возрастает славный род Вячеславов и Вячеславовичей.

Святой благоверный княже Вячеславе, моли Бога о нас!

Я часто совершаю таинство крещения, и меня очень огорчает порой полное отсутствие духовных запросов как у молодых, так и у пожилых людей, пришедших креститься. Заплатят деньги за крещение и ждут, когда я начну. Спрашиваю: «Евангелие читала?» — «Нет». — «Молитвенник в руки брала?» — «Нет». — «Что-нибудь из духовной литературы читала?» — «Нет». — «Креститься умеешь?» Крестится пятерней.

Зачем же принимать крещение, если нет стремления и интереса к духовному? Причина обычно формальная. Как-то неудобно быть некрещеным. Или просто на всякий случай. Я часто спрашиваю: «Далеко ли живешь?» — «Рядом, в переулочке». «Приходи ко мне на службу, в воскресную школу, на исповедь, причащаться». Нет, больше их не вижу.

Ну что с ними делать? Прогнать? Деньги заплатили, крестики в руках держат, крестные с ними пришли, а то и родители на лавочке сидят. Я все равно таких крещу. Опомнятся и придут, может быть, через много лет. Не гнать же! Много времени уходит на беседу. Спрашиваешь про веру. Часто говорят, что с верой пришли, но молитв не знают, ничего не читали, в храм не ходили. Хватает сил лишь на то, чтобы прийти и сказать, что они хотят принять крещение. Ну что же, пришли, значит, верят. Может, что-то им приоткрылось. Господь позвал, вот они и пришли, и идет у нас перед крещением, и во время крещения, и после него духовная работа! Наверное, это тоже хорошо, а то

спросил бы: «Молитвы знаешь?» — «Знаю». — «Евангелие читал?» — «Читал». Веру имеет и крещается раб Божий! А так нам с ними попотеть приходится, и мне что-то открывается, и им. Ведь, наверное, главное не знание молитв, а встреча с Господом, при которой человек понимает, что без Бога жить нельзя. Трудно идти к Господу из неверия, и раз идут — надо принимать. И монахинями потом становятся, и священниками. Примеров много.

Многие священники строго относятся к тем, кто приходит креститься. Значит, так: молитв не знаешь, Евангелие не читал, с духовной литературой не знаком — крестить не буду. Иди и готовься сам или найди такой храм, где готовят к принятию крещения.

Мне кажется, что это неверно. Любой человек, который пришел креститься, должен быть дорог священнику. Надо принять его таким, каким он пришел. Надо вложить всю душу и сердце в крещение, сделать все, что в твоих силах, для того чтобы человек остался в Церкви, а не гнать его оттуда. Потрудись, поработай. Прогнать ведь легче всего.

Недавно мне рассказали, как один человек решил креститься, пришел в храм, а ему отказали, посчитали, что он не готов. Отказали в одном храме, другом, третьем... Он заболел, попал в больницу, оказался в коме. Близкие ему люди рассказали знакомому священнику о его неудавшихся попытках принять крещение, и тот пришел в больницу и крестил его, когда он был без сознания и при смерти. Дай Бог здоровья этому батюшке. Я поступил бы точно так же.

Милые батюшки, не гоните вы тех, кто приходит креститься. Потрудитесь, попотейте, помолитесь. Люди не виноваты, это плоды семидесятилетнего безбожия. Хорошо хоть идут в храм. Их Господь позвал, а вы им от ворот поворот. Нельзя так, поверьте.

«Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас». Вот и пришли. Всех крещу, никого не гоню! Из нашего прихода как-то священника с целой паствой прогнали — отца Георгия Кочеткова и его духовных детей — и те, кто в этом виноваты, стоят молятся, как ни в чем не бывало. Я же только радуюсь, что пришли. Господь ведь позвал!

Порой приходят в церковь люди, которые не молятся, не исповедуются, не причащаются, а обращаются к священнику за немедленным разрешением их проблем. Недавно пришла женщина с множеством проблем. Я ей говорю: «Вы начните ходить в храм, дома молитесь, подготовьтесь к исповеди, к причастию, и при помощи Божией ваши проблемы потихоньку будут разрешаться. Сегодня постойте за службой». Постояла десять минут и ушла...

Возьмите спортсмена. У него есть тренер, но, чтобы добиться, например, звания олимпийского чемпиона, он должен и его советы выполнять, и сам потрудиться. Надо начать жить, как то предписывает Церковь. Может, вначале что-то не будет получаться, но надо не отступать, стараться, и со временем все наладится. Но, видно, многим это не по плечу, они хотят получить все сразу и желательно в один день. Люди чувствуют, что для разрешения своих проблем нужно пойти в церковь, но пальцем о палец не хотят ударить. Уходят и думают: вот, и батюшка ничем не помог, пойду-ка я к экстрасенсу или к гадалке. От них опять возвращаются к нам. Так и бегают по кругу, даже помолиться не успевают, все некогда. Некоторые священников считают за волшебников. Я одной

такой девушке сказал: «Сейчас я все исправлю: трах-тах-тибадах, все будет хорошо!» Хорошо хоть она поняла, что я шучу, и рассмеялась.

Мой совет: начните жить по-христиански, и Сам Господь будет вашим помощником!

Мужчин нередко жены приводят креститься. Ведешь с ним разговор, а недалеко стоит вторая половина: молится или так переживает, как, может, никогда в жизни не переживала, потому что решается... жизнь или смерть. Крещение. Это может быть последним средством, чтобы что-то изменить. Нужно быть непосредственным участником крещения, а священнику надо изрядно потрудиться, чтобы увидеть, как человек меняется на глазах: он уже не такой, каким пришел, или которого сюда притащили силком. Работа эта «адова», ведь из ада надо вытащить человека. И помогает здесь, конечно, Господь. Он видит твою немощь, посылает тебе то, что нужно, и ты уже не сам говоришь (ведь у тебя самого ничего нет), а сила Божия в немощи совершается.

Таким у меня было последнее крещение: человеку пятьдесят лет, первый раз в храм пришел (жена привела). Жена после крещения плакала, а он стоял счастливый: «Отец Вячеслав, я никогда в алтаре не был». Не знаю, что с ним будет дальше, но что бы ни произошло (возможно, он надолго исчезнет), о крещении он будет помнить обязательно, может, и перед самой смертью вспомнит как самый яркий миг в его жизни.

Пришли креститься две девушки: одна высокая, а другая — маленькая, Ирина и Мариамна. В конце крещения я им прочитал Пастернака: «Лицом повернутая к Богу, ты тянешься к Нему с земли, как в дни, когда тебе итога на ней еще не подвели... У смерти очертаний нет, здесь все полуслова и тени, обмолвки и самообман, и только верой в Воскресенье какой-то указатель дан». Затем заговорили о победе в Великой Отечественной войне, я им сказал: «Господь нам помог выстоять и Божия Матерь, молились, вот и победили». А Ирина мне с вызовом отвечает: «Ничего подобного, Бог здесь ни при чем». Я рассердился: «Батюшку нужно слушать, а не перебивать. Я вас крестил, а вы даже молитв никаких не знали». На следующий день Ирина пришла в храм: «Батюшка, простите, я, наверное, вас обидела». Мне сразу легко стало. Она начала на службы ходить, храм убирать. Утром прихожу на службу, а Ирина уже лампадки зажгла, после службы на крестинах помогла. У нас на подворье очень плохо обстояли дела с обедами: ни повара не было, ни денег. Ирина начала готовить, поначалу ей трудно было, но она быстро освоила кухонную премудрость. Вскоре она стала преподавать церковно-славянский язык в воскресной школе, а через несколько лет ушла в монахини. Теперь Ирина — сестра Антония в монастыре святой Марии Магдалины в Иерусалиме.

Рассказ незнакомца: «Жил я как все, был доволен собой, даже стихи писал, а потом пошли неурядицы. Стал пить, с друзьями на троих, по русской традиции, и запил по-черному. Друзья от пьянки погибли, а мне встретилась женщина, которая как-то на мое

«выпить хочется», ответила: «Выпить ты успеешь, лучше сходи в церковь. Прямо сейчас». Я так удивился, что не нашелся, что ей ответить. Пошел. В храме пусто было. Стою и плачу навзрыд, как ребенок. Часа два пробыл. Просто стоял и плакал. Потом так легко стало, так спокойно на душе, как очень давно не было, разве что в детстве».

Сегодня пришел креститься еврей лет пятидесяти. Зовут его Ефим, и день для крестин он выбрал на преподобного Евфимия Великого. Пять лет думал о крещении и хорошо к нему подготовился. Когда я его крестил, мне показалось, что мы с ним на реке Иордан, и крещу не я, а Иоанн Креститель. Ефим повторял за мной все слова молитвы, сам весь светился какой-то первохристианской радостью. В нем все трепетало, ликовало. Такого принятия крещения я никогда в жизни не видел.

«Я послан прежде к погибшим овцам дома Израилева». Вот один из дома Израилева и пришел. Когда я надевал на него крест, он повторял за мной: «Аще кто хочет за Мной идти, да отвергнет себя, возьмет крест свой и по Мне грядет!» Я думаю, что так оно и будет!

Крестил девочку Настю 13 лет. Спрашиваю ее:

— Что же ты так долго была некрещеная?

Улыбается, поправляет прядку волос. (Мама мне потом объяснила, что она ждала, когда дочка сама захочет принять крещение.)

— Батюшка, я не могу ходить без крестика.

— Молитвы знаешь?

— Отче наш иже еси на небеси... и Библия у меня есть.

— Детская?

— Нет, большая.

Весь ее облик говорит: я же взрослая.

— Ты где живешь?

— У кольцевой, в Одинцове.

— А церковь там есть?

- Есть, батюшка, я в нее ходила, исповедовалась, причащалась. (???)

Я ей мягко так говорю:

— А как же ты, Настя, причащалась, если ты некрещеная?

Смутилась. Молчит.

— Ну, ты, Настя, не виновата, кто-то тебя подтолкнул к этому, вот примешь сегодня крещение, а завтра приходи причащаться.

После службы ко мне подошла молодая женщина и проникновенно сказала:

— Я пришла поговорить о мальчике из детского дома. Ему одиннадцать лет, надо бы креститься, да не хочет. Он очень много пережил: его мама, алкоголичка, в состоянии тяжелого опьянения повесилась у него на глазах.

— А вы кем ему приходитеесь?

— Да никем, чужой человек.

— Как же вы его узнали?

— По телевидению показали детский дом, мне стало его очень жалко, и я поехала к нему.

— Как его зовут?

— Вячеслав.

— Я тоже Вячеслав. Если ты его приведешь, то я окрещу и за крестины сам заплачу. Она улыбнулась.

Теперь я молюсь, чтобы Господь коснулся сердца маленького Вячеслава, а Ольге послал бы слова, которые смогли бы привести мальчика в церковь. Взрослые наломают дров, а дети страдают...

Служить так служить... Насколько хватит сил. И на все хорошее призывать имя Божие, чтобы все было настоящим, не наигранным. Держусь молитвой, о которой мы порой забываем, а потому падаем. И хорошо, если затем встаем любовью и милостью Божией. А как трудно покидать этот белый свет, и со всем расставаться: с тем, кого любим и что нам дорого. Но уходить надо, и готовить себя к этому надо. Ах, если бы все это помнили, совсем другая была бы жизнь — светлая и радостная. И каждое мгновение для нас было бы значимо и прожито не зря. Вот что такое наша вера. Недаром написано, что ей горы можно передвигать. Вот почему я так люблю молитву. Она у меня несовершенная, но без нее не могу, и очень радуюсь, когда люди молятся. Молитвы наши сливаются и идут к Богу, а возвращаются любовью и милостью. Этим мы все здесь и держимся. Господу помолимся! Господи, помилуй!

Помолишься — и ты уже вернулся в то состояние, в котором должен быть, то есть жить под Богом, чувствовать Его и соразмерять свои поступки и мысли с Его волей. А иначе нас окружает не жизнь, а ад, нами самими созданный. Впечатление такое, что люди стремятся убежать от Бога, все делают для того, чтобы жить без Него. И лишь небольшие группы собравшихся в храмах своей молитвой как-то сдерживают этот бег. Ради этой кучки Господь помилует всех — я в это верю и, как умею, сам молюсь. Каждый, кто бежит, не зная куда и зачем, остановись и скажи: «Господи, помилуй!» И этого будет достаточно, чтобы Господь помиловал. На что только мы не находим времени, а на молитву его всегда не хватает. Поэтому и весь день идет кувырком. Святитель Феофан Затворник говорит: «Человек, преуспевающий в молитве, будет преуспевать и во всем остальном». Видите, как все просто. Попробуйте, может, с Божьей помощью что-то и получится!

Болезни мешают, но я все равно молюсь. На службе, больной, не знаешь, куда деться. Перед тобой люди, пришли исповедоваться, причащаться, крестить детей, венчаться, а ты от боли еле стоишь на ногах. Сейчас, во время отпуска, стараюсь здоровье поправить. Так хочется помолиться обо всех, ведь многим некогда: заботы, семья, работа, учеба. А я один и к тому же, священник, вот и молюсь: и себя подкрепляю молитвой, и других. Хорошая «профессия»! Переживаю очень за всех. Иногда позвонят: батюшка, помолитесь! Бывает, сразу воздохну: «Божия Матерь, не оставь! Господи, помоги!» А то и облачаюсь — и на коленочки, хотя бы несколько минут отдать за страдающего. У ребят зачеты, экзамены, а их вокруг меня много — молюсь, чтобы сердца преподавателей не были жестокими, чтобы милость оказывали, чтобы вера в помощь Божию их укрепила. Только бы сами не оставляли молитвы, трудились и молились: молитва и труд все перетрут — это всем надо помнить, и батюшкам, и

пасомым. Скорее бы каникулы, ребята бы отдохнули, а потом с новыми силами, духовными и телесными, за учебу. Сейчас учеба все-таки другой стала. Нет материализма и атеизма, которыми нас насильно кормили в недавние времена. Крестики можно носить, и в храм ходить, и в воскресные школы, и даже петь и прислуживать в храме — вот, что Господь послал нам по молитвам тех, кто выстоял в безбожное время, и как мы должны быть им благодарны, молиться за ушедших и за тех, кто жив, и ответить на это любовью к Богу и ближним.

У меня много книг, и я их очень люблю. Что-то прочитано, что-то — нет. Зачем покупал? Думал, что прочту, ведь жизнь большая-большая... А эта большая-большая жизнь подходит к концу, и времени читать нет. Никто мне сейчас не мешает, а читать некогда, все дела — с утра до вечера. Еще и писать взялся, так дни и проходят: один, другой, третий... А книги поглядывают на меня, будто спрашивая: «Что же ты смотришь на нас, а в руки не берешь?» И раньше был занят, но находил время: читал в метро, на даче, вечерами. Очень много прочитано. Сейчас же все мое внимание переключено на молитву, а книги валяются из рук. Когда-то они меня подкрепляли, но другое пришло время, и книги стали плохим подспорьем. Молитва помогает. Засыпаю с молитвой и с ней просыпаюсь, и даже ночью что-то пою; иду, еду — о ком-то молюсь и за кого-то что-то шепчу. Мама тоже незаметно пришла к такой молитве: все молилась за меня, акафисты пела, службы выстаивала, поездки по святым местам совершала. Наверное, когда любишь, тогда и молишься за того, кого любишь. Незаметно молитва становится постоянной спутницей, и тогда ты не один. А книжки стоят и ждут, может, и дождутся. Всеу свое время. «Миром Господу помолимся» и дома, и в храме, и на улице, и отходя ко сну, и вставая...

На улице становится прохладней — конец августа, — а в доме тепло, уютно... Только вот людского тепла не хватает, разговоров, улыбок, размолвок, семейных завтраков, обедов, ужинов. Но все это мне заменяет молитва. Если есть молитва, то и все, что ушло, возвращается. Молитва завтрака, молитва обеда, молитва ужина. В молитве все, вся жизнь людская, с радостями и огорчениями, с печальями и покоем, Все в ней заложено. Молишься — и на сердце спокойно, молишься — и нет уныния, молишься, — и ты не один в молитве. И Тамара с мамой незримо присутствуют, со мной за столом сидят. Вот и хорошо, вот я и счастлив. Такова сила молитвы, она творит чудеса, она сама — чудо.

Ко мне обратилась женщина: «Батюшка, как мне молиться за сына? Он в Чечне, зовут Владимир, от него уже два года нет никаких известий». «Молись, как о живом, и я помолюсь». Я стал молиться, а она, как ни придет на службу, стоит грустная, глаза печальные. Подходит к кресту, говорю: «Молюсь за Владимира». А самому жалко ее до слез. Однажды я ей сказал: «Я за него молюсь у Споручницы, когда там бываю. Ты бы поехала, приложилась к чудотворной иконе, свечку бы поставила». Она отвечает: «Сейчас и поеду». В тот день и я поехал, только чуть позже. Приехал в Хамовники и думаю: «Только что здесь была мама Владимира». И вот совсем недавно подходит

радостная к кресту: «Отец Вячеслав, сын вернулся!» Надо сказать, чтобы съездила поблагодарить Божию Матерь, а может, она уже и съездила. Сегодня опять подошла ко мне и благодарила за молитву, а я верю, что вытащила его оттуда молитва матери, — молитвами земной матери к Небесной сын и вернулся.

Радуйся, яко Ты еси Молитвенница наша к Богу теплая. Радуйся всем с верою притекающим скорая Помощница.

Незаметно подбирается осень, скоро запахнет холодом и зимой. Природа — как человеческая жизнь: зимой все замерзает, и ничем не отогреть грустные мысли. Пишу, а на улице все темней и темней. Писать хочется о самом главном — о молитве. Нет, не о словах, а о том состоянии, когда пребываешь в молитве, которое отличается от всех других состояний души. Ты ведешь беседу не с человеком, а с Богом. Если хоть раз побеседовал, то непременно захочешь продолжить этот разговор.

В раковине сидит... муха. Я мою руки, а она сидит, перебирает лапками и не улетает. Ей жарко, как и мне. Вот она и сидит у ручейка. Она одна единственная в квартире: я один, и она одна. Меня не боится, и я ее не трогаю, мне с ней веселее. Когда молюсь, я о ней забываю, а она обо мне, а то бы подлетела, вместе бы помолились. Но муха, наверное, отдыхает. Она полдня была одна, летала, меня искала. Водичка, когда льется из крана, подбирается к ней совсем близко, а ей хоть бы хны, сидит и лапками перебирает. Как бы ее назвать? Мухой не назовешь. Придумал — Мушастик. Думаю, не обидится. «Ну, Мушастик, с добрым утром. Как спала? Какие сны видела? Давай умоемся, помолимся и будем завтракать. Тебе с чем бутерброд — с колбасой или с сыром? И что будешь — кофе или чай? А потом давай сегодня уборкой займемся, а то пыли много, пропылесосим, или ты не любишь шум, когда ничего не слышно? Ведь ты крылышками машешь, они никому не мешают, а тут такой рев. Давай лучше с тобой пыль вытирать, поделим квартиру: тебе половину и мне половину. А потом устроим постирушку, как Тамара говорила. Мне крупные вещи: простыни, пододеяльники, а тебе — носовые платочки. А гладить ты умеешь? Я утюгом, а ты своими крылышками. А потом поболтаем, отдохнем после обеда и на завтра обед сварим. Я первое и второе, а тебе что полегче — компот. А там и спать пора. А утром встанем — и в Архангельское. Я тебя посажу в кармашек от рубашки и в путь-дорогу. Вот только в метро не высывайся. У меня-то пенсионная книжка, бесплатно прохожу, а ты сиди и молчи, как будто и нет тебя. А как станешь пенсионеркой, тогда вволю накатаешься, Мушастик. В Архангельском лес, речка, вот где раздолье! Искупаемся на славу. Я поплаваю, а ты около бережка поплещешься. Потом на солнце погреемся, земляничку поищем, к храму Архангела Михаила пройдем, я тебя с отцом Петром познакомлю — толковый батюшка, литургию у него отстоим. Ты только смотри тогда сиди и не летай, не мешай службе и тихонечко подпевай, как умеешь. Святые песни душу трогают. А потом пойдем чаю с булочками попьем и домой, ты в свою раковину, а я — в свою. Посидим, помечтаем, вспомним, где были, и поблагодарим Господа, что дал нам еще один день прожить. Вот так, Мушастик. Спать пора. Утро вечера мудренее. Может, на ночь мне сказку расскажешь? О Мушастике...»

Рано утром, когда еще темно, я часто хожу лесом из Чертанова в Ясенево. Пою акафист Споручнице и рад бываю, что никто не мешает. Пропую и опять начинаю. Успеваю два раза пропеть, пока через лес пройду. Это примерно полчаса получается, по пятнадцать минут на акафист. А недавно иду, морозно, минус пятнадцать, что-то вдалеке прошелестело... Ближе, ближе... Бежит невысокий мужичок, в руках палочка, вроде дирижерской, на голове шапочка, на ногах кроссовки, спортивные брюки и ... по пояс голый. Я его летом таким видел, а зимой вот первый раз. Я в зимнем пальто, в шапке, в сапогах, а ему жарко! Бегаёт он здорово. Приучил себя, и ему не холодно. Каждый раз, когда я вижу человека в проруби, мне хочется попробовать самому. Я знаю, все нужно делать постепенно. Но ведь это возможно, и эти люди тому пример. Так же и в молитве много для нас примеров, но мы читаем, удивляемся и... остаемся такими же, какими были, а ведь начинать когда-то надо, иначе так и уйдем отсюда не одолевши и духовных азов. Все спим да почиваем, считаем, что подвижничество — не для нас. А сделали ли мы хоть один шаг на этом пути?! Ну хоть шажочек? Зачем этот человек бегаёт в мороз полуголый по лесу? Наверное, хочет быть физически здоровым. А мы духовным здоровьем не дорожим, а там, глядишь, уже и лежим, нас куда-то несут, все сроки миновали... Духовное здоровье приобретается духовным путем, физическое — беганием по лесу полуголым, а мы ни того ни другого не приобрели. Везде надо потрудиться, везде труд и пот. Я, правда, когда иду по лесу, пою акафист Споручнице. Но это так мало, надо на большее себя подвигнуть, пока есть время, пока Господь не позвал. Помоги, Господи, и поддержи!

11 сентября в Америке взорвали здания в 110 этажей. Два самолета сделали свое страшное дело. Я не мог слушать без слез о том, что произошло в Нью-Йорке. По радио передавали соболезнования американскому народу. Это соболезнования всем живущим на нашей Земле. Мы все народ Божий: нет ни американского, ни русского народа, есть просто народ Божий, и это страшное событие произошло в нашем общем доме, и скорбь наша — общая. А вечером перед службой меня удивила маленькая Ксения, дочка нашего регента Лии. Накануне трагедии Ксюша несколько раз начинала петь из заупокойной службы: «Плачу и рыдаю...». У нее спрашивали: «А повеселее ты ничего не споешь?» А она опять: «Плачу и рыдаю...». Может, детишкам Господь больше открывает, чем нам, грешным. Плачет и рыдает вся земля.

Утром на литургии я молился за всех, кто так внезапно ушел из жизни, и вынул за них частичку на проскомидии: как нет границ этому горю, так нет границ для наших молитв. Конфессиональные границы сметены — Господь всех взял к Себе, не различая, поэтому наша молитва «за всех и за вся».

Я на земле как будто уже все дела переделал, кроме молитвы. Молитва — она ведь нескончаема: начинается здесь, а продолжается там. О молитве не скажешь: кончил дело — гуляй смело. Она, по слову апостола Павла, должна быть непрестанной. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Начни — и уже никогда не кончишь, так и живи с ней и в ней, только это может спасти от отчаяния, уныния, грусти. Повторяй, и незаметно перейдешь ту грань, которая отделяет тебя от вечности.

Можно приложить ухо к молитве, внимательно прислушаться... и услышать хор ангелов, славящих Бога. Нужно только все духовное внимание собрать в молитву.

«Дай же Ты всем понемногу и не забудь про меня», — поет Окуджава, а я вижу маму, ее восторженный взгляд, на глазах — слезы. Она любила эту песню-молитву и называла ее по имени автора — Булат. «Сынок, заведи “Булата”». И я знал, что завести. Пластинка была большая, там было много его песен, но маму волновал именно «Булат» — «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой...» Мама сидит не шелохнувшись, вся подавшись вперед, и слушает. «Сынок, как поет... Дай ему Бог здоровья». Мама любила гитару, сама когда-то играла, у нее был отличный слух.

Песни Окуджавы поднимали духовные пласты. Говорят, что он принял крещение под именем Иоанн где-то в Италии за две недели до смерти, а отпевали его в храме Космы и Дамиана в Шубине. Песни и привели к крещению, всю душу в них вкладывал. Надо верить, что Господь не оставил его.

*В земные страсти вовлеченный,
Я знаю, что из тьмы на свет
Шагнет однажды ангел черный
И крикнет, что спасенья нет.*

*Но простодушный и несмелый,
Прекрасный, как благая весть,
Идущий следом ангел белый
Прошепчет, что спасенье есть.*

Б.Окуджава

Из тьмы отчаянья может вызволить не только слово Божие и слова святых отцов, но и слово поэта, исторгнутое из глубины верующего сердца. Его вера выплескивается наружу и спасает самого поэта и его читателя.

У нас за одним плечом ангел черный, а за другим — ангел белый; один радуется нашему отчаянию, другой скорбит и плачет о нашем падении, а радуется нашему восстанию из тьмы греха и порока. Мне представляется небо, где летают и те, и другие ангелы: одни своей белизной зовут к свету и спасению, другие своей тьмой вселяют ужас и страх. Реют над Россией черные и белые ангелы, идет борьба между светом и тьмой. Черные ангелы кричат, что нам нет спасения, белые ангелы шепчут: «Спасение есть».

Один молодой священник недоуменно спросил меня:

— Вы любите Есенина?

— Да, люблю.

— А как Вы относитесь к роману Булгакова «Мастер и Маргарита»? Вы читали, что Михаил Дунаев написал о романе?

— Я читал мнение отца Димитрия Дудко. Он отзывается о романе положительно.

- Известно ли Вам, что Михаил Афанасьевич принес покаяние?
- А в чем надо было приносить покаяние?
- Ну как же! Он же вывел Воланда привлекательным персонажем.

Я не стал продолжать этот спор. Во-первых, когда роман вышел в 1969 году, он многих заставил задуматься о Христе и о смысле жизни. Во-вторых, сам грех привлекателен. Это позднее, пройдя через искушение грехом, мы осознаем, как он нас обманул. Если бы Воланд в романе был не привлекателен, то грош была бы цена этому «герою», кого бы он смог соблазнить? Булгаков глубоко понимал природу и характер греховного соблазна. Его роман — это суд и предупреждение. И не нам осуждать Булгакова, а ему, сатирику, — нас.

Ильинский читает по радио «Власть тьмы» Толстого. Я смотрел эту вещь в Малом. Помню, в Арбатском переулке мы с товарищем встретили прогуливающегося Ильинского. Мы прошли и оглянулись, он тоже оглянулся и посмотрел на нас тем смеющимся взглядом, которым так часто смотрел с экрана.

У него были очень хорошие глаза и успокаивающий, зовущий к добру голос. В те годы у меня было такое чувство, что он своим творчеством театрального актера и чтеца хотел передать человеку Бога. Голос Ильинского был одухотворен, в нем звучал внутренний покой и благородство. У него один из героев говорит: «Кайся, кайся, приноси покаяние, Богу покаяние надо». Ильинский был прихожанином храма Илии Обыденного.

В рассказе Хемингуэя «Старик и море» есть замечательная сцена молитвы. Изможденный старик в минуту отчаяния невольно обращается к Богу. «В Бога я не верую, — сказал он, — но я прочту десять раз «Отче наш» и столько же раз «Богородицу», чтобы поймать эту рыбу. Я дам обет отправиться на богомолье к Кобреной Божией матери, если я ее впрямь поймаю. Даю слово».

Это напоминает молитву «Верую Господи, помоги моему неверию». Или, точнее «Помоги моему неверию. Верую, Господи». «Старик стал читать молитву, по временам он чувствовал себя таким усталым, что забывал слова, и тогда он старался читать как можно быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. «Богородицу» повторять легче, чем «Отче наш», — думал он». Потому что, как пишет св. Григорий Палама, все молитвы к Господу идут через Богородицу.

Ночь располагает к молитве. Ночная тишина — это уже молитва. Но мы в основном отдыхаем, а не молимся. Ночь создана для молитвы. Ночное бдение, всенощное бдение, всенощная. Мы говорим: «Пошли к всенощной», то есть на всю ночь, а эта «вся ночь» через два часа кончается. И опять ничего не получилось. Выбери ночь, чтобы получилось, выбери, не откладывай. Побудь ночь с Богом. А ночи убегают одна за другой, и не одна не становится твоей молитвой. Господи, ну хоть одну ночь побыть с Тобой. Когда же придет эта спасительная ночь? Она должна быть, хотя бы одна за всю жизнь. Господи, помоги, дай ночь и дай молитву...

**

*Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжной палкой и сумой...*

Раньше на Руси много было таких, и какая сила в этих людях была заложена, чтобы, оставив все, с палкой и холщовой сумой идти по Руси. Ночлег его там, где застанет ночь, и, наверное, в какую избу ни постучит, впустят странника. Войдет, перекрестится на образа: «Мир дому сему», — и поклон хозяйке. Примут, обогреют и накормят — нельзя прогнать — это Христос пришел в таком убогом виде. Отдохнул — и дальше. На горе монастырь — как раз ко всенощной поспел, и стоит с котомочкой и с палкой в руке, молится за тех, кто его принял и накормил. И в монастыре ему место найдется, а утром отстоит обедню — и в путь. Пригорки, холмики, перелески, пение птиц, отдых на опушке и крохи от обеда птичкам. И дальше, дальше, от монастыря к монастырю, от храма к храму, от деревни к деревне... Какой верой надо обладать, чтобы так ходить и знать, что Господь не оставит и все пошлет, что тебе нужно.

Куда сейчас делись странники? Да и пустит ли кто сейчас, если таковой постучится в окошко? Сердца очерствели, никто никому не верит, потеряли веру в Бога, потеряли и веру в странников. Всем везде мерещатся проходимцы и мошенники, и подавать-то перестали. Но ведь просят, значит, нуждаются, с детишками по метро ходят, ведь среди странников раньше тоже были молодые и здоровые. У каждого свой путь земной: одному бродить и молиться, другому у станка стоять. А бродить и молиться очень трудно. У тебя нет ни дома, ни семьи, ни еды, ни пристанища. Семья — весь мир, а дом — где тебя приютят. Непрост страннический путь, здесь только надежда на Бога, что не оставит. Брели они городами и весями с теплым сердцем, и люди делились с ними последним: как же Христа от окошка прогнать? Миловал Господь Русь за это. На милости к странникам она и держалась. Забудем убогих странников — очерствеет душа: будет стоять Христос и стучать в оконца нашего сердца, да не получит ответа, и уйдет голодным и обездоленным. Как нам тогда жить без Него? «Не местные мы...» Значит, странники, да еще с детьми, «которых есть Царствие Небесное». Не убудет, дай копеечку, ведь в старой Руси таких не гнали, а подавали им, кто сколько мог.. Мы-то на месте, а они, «не местные», пришли под наши окошки и просят. Говорят, «беженцы», значит, без дома, без крыши над головой. Не оскудеет рука дающего. Они счастливее нас, они странники, их Господь нам послал, чтобы растопить наши жесткие сердца.

*Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,
Пройдет проселочной дорогой,
Молясь на копны и стога.*

Только вошел в храм, слышу: «Батюшка, схимонах Серафим хочет Вас видеть». В храме никто не знает, что это за схимонах Серафим, а у меня с ним связано много воспоминаний. Это был больной мальчик, который еле передвигался и плохо говорил, но очень хорошо молился. Ходил он один по всем храмам, престолом, и как-то мама увидела его у Споручницы. Сердце ее дрогнуло, и она пригласила его к нам в подвал. Шел примерно год 1956-й. Накормила, уложила спать. Мама очень любила его, и он

называл маму Еленушкой. Он жил со своим отцом, но тот не приветствовал его хождения по храмам.

Однажды, когда я тяжело заболел и попал в больницу, Серафим ночевал у нас. Проснувшись среди ночи, мама увидела, что он молится, бьет поклоны, а сам весь в поту. Мама говорит ему: «Серафим, ты бы отдохнул, завтра рано на службу». А он ей: «Я за Славу молюсь». Так и вымолили меня добрый мальчик Серафим вместе с моей мамой. Убогий Серафим.

Вышел я к нему из алтаря, он улыбается. Сейчас он старик, моего возраста, на коляске: «Я твою маму Еленушку поминаю». Попросил я его и за Тamarу молиться. Книжку ему подарил на прощание.

Серафим — это юность, болезнь, спотыкание в духовной жизни и его молитва. У него пламенная молитва. Говорят, что теперь в схиме он зовется Симеон, но для меня по-прежнему — Серафим. Я так и на книжке написал — Серафиму. Убогий Серафим сидит в коляске, не ходит, зато в молитве летает — на то и Серафим, на то и пламенный.

Мне нравятся маленькие, сторбленные старушки в метро или на улицах, с молитвой принимающие подаяние. Эти Божии одуванчики напоминают нам о Христе. Люди бегут на работу, не заметив такую старушку, а на обратном пути останавливаются и подают ей. Нужно благодарить Господа, что не оставляет он Россию: делает нас милосердными и любящими, а значит, и Божьими людьми.

Однажды у метро я заметил рядом со старушкой пьяненького нищего, подал ей и ему. Он поднял глаза и с удивлением спросил: «И мне?!» В его вопросе было такое острое чувство своего недостойнства и столь искреннее удивление от встречи с милостью, что сердце наполнилось горькой жалостью.

У храма нищие: у паренька-инвалида больные руки, он плохо говорит, сидит у ворот на стульчике. Рядом стоят женщины и два старичка. Летом им тепло на улице, а зимой в мороз они мерзнут, но все равно стоят. Я помню, что раньше нищие стояли в притворе в тепле. Дверь, правда, все время открывалась, и дул ветер, но все же они могли укрыться от дождя и снега. Теперь нищих в любую погоду из храма гонят, а в некоторых местах и к воротам не подпускают. Что-то здесь не так: не должны старые больные люди стоять на улице и трястись от холода. Мы проходим мимо, бросаем им монетки и входим в теплый храм, а они остаются на улице с пластмассовыми кружками в застывших руках. В бытность мою алтарником в Хамовническом храме я всех нищих знал по именам. Был среди них Миша-юродивый, маленького роста, с небольшой бородкой, он всем улыбался и каждому что-то говорил. Много из сказанного им сбывалось. Стояла инокиня Доминика: под праздники ей выносили из алтаря семисвечник и подсвечники, и она начищала их до блеска. Правда, нищие часто ругались между собой, но ведь и мы не святые. Тогда если их и гнали, то под нажимом советской власти, которая утверждала, что нищих в стране нет. Но почему сегодня мы, свободные христиане, так жестоки порой по отношению к слабым, больным людям, просящим у нас милостыню? Почему немилосердны? Сжимается сердце каждый раз, когда я прохожу мимо церковных ворот, особенно жалко детишек. Нужно пустить нищих в храм, в притвор, где они могут услышать слово Божие и помолиться вместе с нами.

При выходе из метро «Тульская» на пути к Даниловскому кладбищу есть магазин с каменным крыльцом, на котором сидит маленький седенький старичок, с растрепанными волосами, красноватыми глазками, почти всегда... пьяненький. На коленях у него кепочка, на которой разложены мелкие монетки: копеечки, пятачки, гривенники. Эти монетки он выстраивает ровными рядами, они у него, как солдаты на параде. Когда выкладывает их в рядок, на его лице появляется сосредоточенность, как при очень серьезном занятии.

Завидя меня, он всегда улыбается и что-то мне говорит. Я всегда кладу на его кепку монетку. Его монетки представляются мне солдатами, сержантами, старшинами, среди них нет даже лейтенантов. Если я кладу ему два рубля, то говорю: «Вот тебе полковник», — а если пять рублей, то: «Вот тебе генерал». Мне не попадаются десятирублевые монетки, а то был бы ему маршал. О чем думает этот старичок, выстраивая свое войско, — не знаю, но он целиком отдается этому занятию. При виде моей монетки он вскидывает голову, и глаза его начинают светиться: милая, добрая улыбка освещает лицо. Он что-то говорит мне вслед, но я не останавливаюсь, не хочу нарушать нашего внутреннего единства, какой-то безмолвной дружбы, соединяющей нас. Он занят своим войском, я — своими мыслями, нам хорошо при встрече — и Христос посреди нас!

Я держу новую ручку, привезенную из Лондона моей духовной дочерью Леной. Такой ручкой стихи бы писать... Очень мягко пишет, у меня еще такой не было. И что мне осталось этой ручкой еще написать? Путь у меня выбран, и ничего менять я не собираюсь, только служу с трудом. Жду момента, когда мне скажут: «Вы нам не подходите», — как некогда в Измайлове. Но тогда у меня были силы, а сейчас придется сидеть дома, совершать свои обычные прогулки, если смогу. На ручке изображен монастырский скит на острове — это символ молитвы. Вот что мне осталось. Удивительная ручка, нежная такая, из Англии, где молится владыка Антоний, удивительный человек, самый духовный из всех наших архиереев, кроткий и крепкий. Кто из архиереев, кроме него, способен сказать с такой иронией о себе: «Я бы мог издать целую книгу своих проповедей под названием “Собака лает — ветер носит”». Слава Богу, ветер доносит его слово до России, и многие прислушиваются к нему. У него все основано на любви, а потому сразу ложится на сердце.

Мы говорим: как бежит время, как оно скоротечно. Сколько у нас забот, волнений. Глядишь, а они уже прошли — и зачем мы так волновались? Если о других — это хорошо, а если только о себе да о своей плоти? Может быть, действительно, довольно для каждого дня своих забот? Мы время разделили на секунды, минуты, часы, месяцы, годы... А если бы не было этого деления, как бы мы жили и как бы говорили себе и другим, сколько прожили, кому сколько лет? Время уходит, как со стола сбрасываешь крошки: смахнул — и нет их. И, правда, перед Богом один день — как тысяча лет, а тысяча лет — как один день. Для нас то же самое, но в более мелких масштабах: шестьдесят лет прожил, как один день, а один день — как шестьдесят. Только вчера со мной были Тамара и мама, а вот уже семь лет их нет, а я никак опомниться не могу.

Проскочили эти годы, и сколько их еще пройдет — кто знает. За временем не угонишься. Недавно был 1938 год, а вот уже и 2002-й, а затем и 30-й. И лишь молитва остается неизменной: она не убегает и не уходит, не исчезает, сколько бы времени ни прошло, она вне времени — она есть, была и будет. Это мы преходящи, а не молитва. Поэтому молюсь и утверждаюсь в вечной молитве. Молитва вечна, как мир, она может только преображаться, переходить из одного состояния в другое, подобно преображению мира и твари. Вот почему так хочется пребывать в ней.

Вечна литургия, вечна молитва, ведь ангелы непрестанно славят Бога, а мы «мало чем умалены от ангелов», попробуем и мы славить Бога и так незаметно войдем в вечность с песней на устах: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни неба и земля славы Твоя!».

Вечером тикают часы, и больше никаких звуков нет. Если я пишу, то еще скрипит по бумаге ручка. А так — тишина. И в тишине рождаются мысли, идеи, планы. Даже часы слышно, только когда прислушаешься. Один в квартире, в которой «тыщу лет не мыли, не мели». Нет, изредка я, правда, убираю, под большие праздники, а так у меня беспорядок и в доме, и в душе. Может быть, беспорядок в душе оттого, что беспорядок в доме? Везде надо мести, мыть, убирать, а то зарастешь пылью и грязью. Часы тикают, время идет, а ты все сидишь и ничего не делаешь ни с душой, ни с домом. Смотри, поздно будет. Замучаешься потом все чистить, приводить в порядок. Часы свое дело знают: будят, о времени напоминают. Такая у них работа, чтобы все было вовремя: и сон, и еда, и отдых, и дела. Тик-так, тик-так... видно, я живу не так. Давно пора изменить жизнь, да ничего не получается. Какой я стал ленивый и беспомощный. Вон дворники встают рано-рано и чистят, и скребут, любо-дорого смотреть, а из меня дворник никудышный. И чем скрести и подметать свою душу — не знаю. Где найти такие скребки? А часы знай тикают: их завели, и они работают, а меня «завели», а я сижу сложа руки.

Сколько в мире часов! Миллионы, миллиарды самых разных, как и нас, людей. Они нам напоминают о днях рождения, о праздниках, и о самом главном — о смерти, когда оттикают нашу последнюю минуту.

Завтра в половине шестого они меня разбудят и будут со мной весь день: и в Хамовниках, и на могилках, и в лесу — везде. Мы с ними неразлучны. Тик-так, тик-так...

Теплится лампадочка, значит, и наша молитва должна теплиться подобно ей. Я прочитал про удивительного монаха, который мог разговаривать, даже спорить, но в то же время сохранять внутри себя Иисусову молитву.

В храме горят лампадки, мы молимся и поддерживаем этот огонек, теплящиеся лампадочки ко многому обязывают: Бога не забывать, вечность, молиться за ближних, мысли в чистоте хранить.

Знаете, как раньше трудно было достать лампадное масло? В аптеках доставали вазелиновое по знакомству или по рецепту. Все делалось для того, чтобы люди не молились дома, а занимались чем-нибудь другим, потому что лампадочки ко многому обязывают. У мамы, когда она ушла ко Господу, на лоджии в столике я обнаружил целый склад масла, и очень долго — года три — мои лампадки теплились маминым

маслом, создавая тепло и молитвенный уют в комнатах. Мы говорим, семья — домашняя церковь. Я, как домой прихожу, сразу зажигаю лампы. Сегодня вот пыль вытирал: лампадочки горят, я «Богородицу» пою. Два часа пыль вытирал и два часа «Богородицу» пел.

Сейчас и лампы можно достать, и масло любое купить, только следить за ними надо: нагар снимать, а то могут вспыхнуть: на моих глазах и в алтаре вспыхивали, и у меня дома ночью. Когда столб огня поднялся, меня Божия Мать разбудила. Вскочил, а на столе лампада пылает, еле загасил. Моя вина — нагар вовремя не снял, теперь боюсь оставлять на ночь и ставлю свечи Неопалимой Купине в Хамовниках.

*Божница старая, лампы кроткий свет,
Как хорошо, что я сберег
Те ощущения детских лет.*

Лампадочки еле теплятся, как и моя жизнь: маленький огонек, того и гляди погаснет. Но Господь держит на этой земле. Как травинки вокруг костра загораются, тлеют и вскоре гаснут, так и я потихоньку уйду. А лампадка пока не гаснет. Мне кажется, и всю ночь так продержится. Слабый огонек, а продержаться может долго. Может, и я так? Какова молитва, таков и огонек. Бывает, лампадка ярко-ярко горит, вспыхнет и погаснет, а то вот так, еле теплится. Так и молитва. У мамы в комнате старинная николаевская лампадка всю ночь горит, образа все в сиянии. Хоть и маленький огонек, а весь святой угол освещает. Лампадки погаснут, и мы тихонечко отойдем к Господу, где «зажгутся лампы небес».

*В лунном кружеве украдкой
Ловит призраки долина,
На божнице за лампадкой
Улыбнулась Магдалина.
Смерть в потемках точит бритву,
Вот уж плачет Магдалина.
Помяни мою молитву
Тот, кто ходит по долинам.*

Сегодня в день Архангела Гавриила в храме ко мне подошла под благословение высокая пожилая монахиня. Открывает она свою сумку и показывает мне маленькую лампаду, похожую на керосиновую лампу. Смотрит на меня и говорит: «Это благодатный огонь из Иерусалима от Гроба Господня. Он сейчас горит желтым пламенем, а бывает то синий, то голубой». Я сунул руку в сумку и почувствовал тепло, исходящее от лампы. Чудо! Пасхальный огонь посетил нас в Москве на Благовещение. Как она смогла сохранить его в течение целого года?

Я все боялся, что не доживу до отпуска. Дожил. Поехал в дождь без зонта к Тамаре с мамой на могилки. Постоял под дождем, поклонился, сказал, что в отпуске, а дождик

льет и льет. Иду домой, думаю, а кому он нужен, мой отпуск? И сказал сам себе: посвети его молитве; у тебя есть за кого молиться: за тех, к кому ты сегодня в дождик ездил, и за других, их тоже очень много, и они все прибавляются. Люди тянутся к Богу, а священник — связующее звено. Не обмануть бы их надежды. Я очень этого боюсь. Пришел человек, поговорил с тобой, ушел и больше не вернулся. Это самое страшное — искал Бога и не нашел. Я изо всех сил стараюсь, чтобы такого не случилось. Я на себе испытал, что значит жить и быть без Бога. Это посещает, наверное, всех, но долго в таком состоянии находиться страшно, можно совсем Бога потерять. Как открываются люди священнику, от этого страшно и радостно. Страшно потому, что ты человек грешный, а они тебе так доверяют. Радостно тогда, когда человек увидел через тебя, грешного, Бога и засверкал всеми красками. Эту радость никто у нас не отнимет!

К сердцу священника сходятся все человеческие пути, все стремления, надежды, упования, выбор пути — все идет через батюшку. А что может батюшка? От себя — ничего, все от Бога. Батюшка может только путь немножко выправить и то потому, что через него действует Господь. Я такой же грешник, а может, еще больший, чем те, кто ко мне обращаются. «Без Меня ничего творить не можете» — это всем нам наказ, а батюшке в первую очередь. Батюшке надо уметь выслушивать все, и тогда что-то приоткроется тому, кто к нему обращается. Но самое главное все-таки молитва, в ней и через нее может быть дан знак, как поступить. Часто в беседах проявляется что-то не твое, потому что на это ты просто не способен, скажешь и думаешь: «Это Божие, а не мое, потому что сам я никудышный и своим советом только могу все загубить». Раз поставлен Господом молиться, молись — как умеешь, а остальное не твоего ума дело. А люди идут и идут, ищут у меня поддержки, а меня самого надо со всех сторон поддерживать, чтобы не упал, и кто кого держит — это еще вопрос: то ли я поддерживаю людей своими молитвами, то ли они меня.

Турки ворвались в храм Святой Софии в Константинополе, когда там шла божественная литургия. Служащий священник взял Чашу со Святыми Дарами и спокойно направился к боковому приделу храма. Не успели турки занести над ним свои ятаганы, как стена храма расступилась и скрыла бесстрашного священника. В народе существует поверье, что и сейчас в глубине мраморной стены он читает молитвы над Святой Чашей и наступит день, когда вновь расступится стена храма и из нее выйдет священник со Святыми Дарами.

Как хорошо у мамы в комнате, мне порой хочется остаться и даже на улицу не выходить: сидеть, смотреть на иконы, молиться. Намолено здесь, как в монастыре. Бывает, подойдешь к иконам и чувствуешь благоухание, исходящее от святого уголка. Трудно расстаться с иконами, ухожу и все смотрю на них, так к себе и притягивают. Бывало приду к маме: «Сынок, я и у себя в комнатке молюсь, и у тебя...» Здесь была моя молельная комната, я часто приезжал к маме после службы помолиться. Господь дал иконы, тихие, спокойные комнатки. Иконы дарили монахи, лампадки — миряне. В доме с иконами жить легко — они как будто тебя на все благословляют, все делаешь

под их взором, и весь день напоминают тебе о Боге. Вот преподобный Серафим на камушке с воздетыми руками, архистратиг Михаил с предстоящими, Троица, дуб Мамврийский, все двенадцать праздников, Спаситель с овечкой на плечах, Божия Мать Млекопитательница, Нечаянная радость, Казанская, Споручница, Владимирская, Николай Угодник, преподобный Сергей, Моление о чаше, Спас Еммануил, Неопалимая Купина, благоверный князь Вячеслав, благоверная царица Тамара, равноапостольные Константин и Елена... Подойдешь, а они тебе говорят: «Молись». Хоть кратенько, но помолишься и побежишь дальше. Хорошо с иконами — они самые верные друзья, никогда не оставят, всегда помогут, укрепят, я даже представить себе не могу квартиру без икон. «Дивен Бог во святых своих», и дивны люди у святых икон: они преображаются и излучают свет и добро. Это наша домашняя церковь, здесь свои службы и молитвословия: особые, домашние, очень теплые и доверительные. Уходишь в храм помолиться, приходишь — и дома тебя ждет молитва. Лампадка теплится, чтобы твоя надежда на Господа никогда не угасала. Мне всегда хотелось, чтобы в квартире были иконы и книги, и ничто лишнее не отвлекало от Бога.

Рядом со мной в гостях сидела чудесная русская старушка из Канады. Она знала Иосифа, хранителя мироточивой чудотворной иконы Божией Матери Иверской, и как-то оказалась рядом с ним в самолете. В руках у него была та самая чудотворная икона. Она, по рассказу старушки, так источала миро, что даже одежда Иосифа намокла. А я был счастлив, что оказался рядом со свидетельницей такого чуда.

Преподобный Иоанн Лествичник жил у подножия Синайской горы, выходил помолиться в предрассветные часы и видел маленькие точки-ниточки людей, поднимающихся по тропинкам на вершину горы, где когда-то Бог явился Моисею. Так возник образ лестницы. Чем же отличается его лестница от обыкновенной лестницы в нашем доме? На его лестнице нельзя останавливаться, если остановишься, то покатишься вниз, надо все время неустанно подниматься. Каждый из нас знает, что с нами происходит, если мы перестаем молиться. Сегодня оставили молитву, завтра... А как трудно все начинать сначала. На обыкновенной лестнице мы можем передохнуть, здесь — нет, все время надо идти вверх. Там нас ждет Господь. Только к Нему, только вперед. На этом пути нас ждут искушения, испытания и скорби, но у каждого из нас есть покровитель, преподобный Иоанн Лествичник, и наш святой ангел — к ним и надо обращаться за помощью. Да и Божию Мать мы называем Лестницей Небесной — Она соединила землю с небом. Ангелы Божии сходят и восходят по этой лестнице. Вспомните патриарха Иакова и его сон в пустыне.

«Одеяние вретиче мне подобает за грехи моя. Ты же препоясал мя еси веселием, и облекл мя еси в ризу светлу, предстати святей Твоей трапезе: да не изыду посрамлен от лица Твоего». Когда я дохожу до этих слов из акафиста ко причащению, готовясь к литургии, то всегда останавливаюсь, вспоминаю все свои грехи и хочу упасть на колени перед Спасителем. Слова эти написал епископ Амвросий Медиоланский, они рвались у него из груди, а теперь стали и моими словами. Некоторые спрашивают: как можно

молиться чужими словами? Так молись, чтобы они стали твоими. У грешников один вопль: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!» Оторопь берет, когда думаешь, что «мне подобает за грехи мои». Но, видно, любовь Божия побеждает и грех: любит и не наказывает, а милует. Когда молишься, видишь, какой ты никчемный, ни на что не способен, и только милующая любовь делает тебя тем, кто ты есть, — священником. Молись словами, которыми когда-то кто-то молился, и они станут твоими, и Господь тебя услышит. У нас порой своих слов нет, нет глубокого покаяния, а в молитве мы находим пример. Завтра, если Бог даст, буду служить, стоять перед Престолом и думать: «Одеяние вретисе мне подобает за грехи моя. Ты же препоясал мя еси веселием, и облекл мя еси в ризу светлу, предстати святей Твоей трапезе...» Господи, как же Ты любишь меня, дай и мне любить Тебя такой же любовью. Да не изыду посрамлен от лица Твоего.

Один инок утверждал, что «Бог накажет всех безбожников», а преподобный Силуан Афонский сказал ему на это: «Если тебя посадят в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то (давайте вместо «кто-то» поставим «твой мать, отец, сестра, брат» — *В.В.*) горит в адском огне, будешь ли ты покоен?» Тот ответил: «А что поделаешь, сами виноваты». Старец же сказал со скорбью: «Любовь не может это понести. Надо молиться за всех».

Часто люди даже в Церкви рассуждают, как тот жестокосердый инок. Такая у нас часто «любовь» к неверующим, и даже протестантам, католикам, иудеям, мусульманам, ко всему неправославному (а порой и к православному, но, на наш взгляд, неправильному) миру. Я никогда не понимал людей, которые с легкостью берут на себя роль судей. Разве нам может быть хорошо в райских селениях, когда рядом в аду будут мучиться наши близкие? Владыка Антоний говорит: «Может, я и скажу, что Бог во всем прав, а душа-то будет разрываться. А если она не будет разрываться, то значит, во мне любви не так уж много, раз я могу забыть самых родных, самых близких, которые были для меня кровью и плотью моей жизни, просто потому что сам в рай попал».

В Церкви часто можно услышать, что спасутся только православные, да и то не все. А Владыка Антоний пишет: «Я не могу представить, чтобы Бог создал людей только для того, чтобы большинство из них пошло к дьяволу!» — «Может быть, — как будто продолжает его мысль епископ Иларион (Алфеев), — те, кто умер вне христианской веры, встретят Христа после смерти и уверуют в Него».

Мы все — единый род человеческий и всех должны любить. Господь сотворил людей для радости, для вечной жизни. Жаль неверующих: они мимо Бога прошли и не заметили Его. Плачу я о них, и слезы приносят мне облегчение.

Слезы очищают, ведут к Богу, милосердие дают. Великим постом читаем в каноне Андрея Критского: «Откуда начну плакать мое житие». Откуда вспомнишь, оттуда и заплачешь — от греха, который тебя опутал. Весь канон — сплошные слезы, и если бы все во время чтения канона в храме плакали, то море слез наполнило бы храм. Когда человек плачет о своих грехах на исповеди, то слезы сами говорят о его глубоком покаянии. Апостол Петр всю жизнь плакал, и нам нужно жить по его примеру. За покаянные слезы, может, и простит нас Господь.

Я служил литургию один в будний день. Людей на исповедь пришло много, а времени у меня было мало. Подходит на исповедь женщина средних лет, за ней еще человек десять стоят. Достает из сумочки листы, исписанные мелким почерком и говорит: «Это, батюшка, мои грехи, я буду их читать». Я понял, что, если она начнет читать, времени на службу не останется. Беру у нее листки и иду в алтарь. Вижу, что она переписала всю священническую исповедь, среди прочего читаю: «Согрешила иноческих обетов неисполнением». Выхожу к ней: «Вы инокиня?» — «Нет». — «А почему в «своей» исповеди написали о нарушении иноческих обетов?» Молчит.

Мне кажется, что перечисление грехов — это не главное в исповеди. Главное — искренний плач о грехах и желание жить с Богом. Подошла бы она ко мне и сказала: «Батюшка, вся жизнь в грехах, столько мерзости совершила, нет грешнее меня. Поняла, что так жить нельзя, что предаю и Бога и людей, землю оскверняю своими грехами. Хочу начать новую жизнь, жизнь с Господом, по Его святым заповедям. Может, у меня и не сразу получится, но плачу я и рыдаю о своих грехах, о своем отступлении от Господа. Прошу прощения у Него и Ваших молитв, помогите оставить греховную жизнь, помогите встать на путь Истины». Если таково покаяние, то и грехов перечислять не надо. Батюшке остается только накрыть такого человека епитрахилью и отпустить ему грехи. А длинные списки можно перечислять с сухим сердцем по многу раз безо всякого результата. Кому нужны такие «диссертации»? Нужны плач о грехах и жажда изменить свою жизнь. Господи, помоги!

В храме Феодора Стратилата на Антиохийском подворье наиболее почитаема икона Божией Матери «Нечаянная Радость». Сегодня, прикладываясь к иконе, я понял, что разбойник, стоящий перед Божией Матерью на коленях, — это я сам. Стою и молю о прощении грехов, а грехов у меня столько, что этому разбойнику со мной и не сравниться. Недостоин я прощения, но радуюсь самому предстоянию Божией Матери и молюсь: помоги, смилуйся, не погнушайся. Божия Мать ждет моего покаяния, а я заливаю слезами ступенечки, ведущие к ней, и не могу подняться с колен.

«Что прошло, то будет мило...» Все мило, кроме... греха. Грех никогда милым не будет, как ты его ни приукрашивай, ни извиняй, ни оправдывай, грех останется грехом. А все остальное мило, даже болезни: они ведут нас к Богу. А то мы очень мало думаем о Нем. Все заботы, да дела... Мило все, что сотворено Богом. А грех Он не творил, мы сами «своей своенравной властью грех из темных бездн воззвали», и никто, кроме нас самих, в этом не виноват.

И почему люди думают, что грешить легко? Грешить очень тяжело. Ведь мы идем против Бога, против людей, против своей природы. Попробуй-ка, преодолей все это. И представьте, преодолеваем, так уж хочется грешить. А потом плачем, терзаемся, просим прощения у Бога и у людей... и опять грешим, и опять каемся. Зачем? Как можно жить с такой тяжестью на сердце? Что он, этот грех, медом, что ли, намазан?

Не лучше ли покаяться раз и навсегда, омыть слезами покаяния свои грехи, чтобы ушли они в землю и никогда уже не возвращались. Постараемся побольше молиться, любить и жалеть людей. Для этого мы и посланы сюда. И это так просто...

Сегодня я служил позднюю литургию. Полный храм народа, много молодежи. Наверху поет хор, а я стою перед Престолом и думаю: «Я — песчинка среди этого людского моря. Отрешишь в молитве, и Господь все тебе даст». Удивительная была служба. Миром Господу помолимся... Сегодня мы действительно молились миром.

Берегите тишину, в ней можно услышать многое.

Тишина обволакивает меня: «тихо, тихо в иконном углу», тихо на душе, тишина со всех сторон подкрадывается, и ничто эту тишину не нарушает. Я сижу и хочу уловить что-то в этой тишине, поймать какой-то знак, какую-то мысль. Хочется что-то услышать очень важное, вот и напрягаю слух, а кругом тихо-тихо. Какая кругом тишь, и так каждый вечер. Берегите тишину, в ней можно услышать многое. Только прислушайтесь: ангелы поют, слышен шелест их крыльев. Я привык к тишине и ничем ее не нарушаю. Эта тишина божественная. Чем тише, тем явственнее можно услышать Божие... Всех нас ждет тихая пристань у Господа. В веянии тихого ветерка Илия почувствовал Бога. В тишине утихает моя боль. В ночной тиши хорошо молиться. Вечер всегда тих, вечер и тишина нераздельны. Перед сном надо обязательно побыть в тишине и только потом погрузиться в сон.

*Закадили дымом под росой рощи.
В сердце почивают тишина и мощи.*

Выключите все, что шумит, и побудьте с Богом наедине. Господь тихо войдет в ваш дом и прикоснется к вашему сердцу, и вам будет с Ним очень хорошо. Не включайте телевизоры, громкую музыку. Не гоните Того, кто приносит в ваш дом мир и Сам входит со словами: «Мир дому сему». Вспомните, дверями затворенными явился Господь апостолам. Если бы они пребывали в грохоте и шуме, в котором порой пребываем мы, Он бы не пришел к ним. Мы шумом не пускаем Его в свое сердце, в свои дома. Он постоит-постоит у наших дверей и уходит, а потом мы удивляемся, почему нам так плохо. Не пропустить бы нам Господа и вовремя открыть Ему двери нашего сердца и нашего дома!

Сегодня вышел их храма после службы. Снег идет, тепло и благостно. У ворот стоит прилично одетый мужчина с папироской в руке. «Помогает?» — обращается он ко мне. Я не могу понять, что он имеет в виду. Кто кому помогает? Он, видя мое замешательство, поясняет: «Я видел вы из храма вышли и крестились. Хоть немного помогает? Я-то неверующий». — «Очень помогает», — отвечаю я. «Может, и мне попробовать?» Улыбнулся и не спеша пошел по переулку.

Вот такая встреча у Божиего храма. Я не знаю, кто он, а он не знал, что спрашивал у священника. Я думаю, Господь ему поможет, раз он Его ищет.

*

В тихом вечернем гуде

(...)

Сам я не знаю, что будет.

Я тоже не знаю, что со мной будет завтра, послезавтра, через неделю, через год, и даже... через минуту, и поэтому надо всегда иметь в своем сердце Господа и слова молитвы Господней: «Да будет во всем воля Твоя...» Тогда ничто не застанет нас внезапно, ко всему мы будем готовы, и Господь будет с нами. «В тихом вечернем гуде (...) сам я не знаю, что будет...» Эти стихотворные строчки меня часто посещают вечерами, я хожу и твержу их. Мы не знаем, что с нами будет, но с нами Господь, и поэтому нам нестрашно.

Я благодарен тем, кто меня окружает. Этих людей очень много: в храме, в воскресной школе. Сколько тепла они привнесли в мою одинокую жизнь. Я не буду называть их по именам, но их улыбки, их помощь, их участие мне очень дороги. Я окружен добрыми людьми. За что — не знаю, никаких заслуг моих в этом нет.

Сегодня меня познакомили с чудесным дьяконом отцом Андреем из храма святителя Николая в Пыжах. Мне хочется его называть ласково — отец Андрюша. Открытый, любящий людей, сам страдающий и за страждущих переживающий, мудрый университетский профессор и смиренный дьякон, многое понимающий и прощающий. С ним легко разговаривать. Из него исходит сила духовная и интеллектуальная. Таких людей мало, и так радостно, когда Господь их посылает.

Наступило Рождество. Ночь. Литургия. Господь послал мне слезы и благодарность Ему за служение, за предстояние у Престола в эту чудесную спасительную ночь. Как зримо Господь присутствует в эту ночь в храме. «Преподаждь мне Честное и Пресвятое Тело Господа нашего Иисуса Христа» — Христос на моей ладошке — как умещается? — и я вкушаю Его Святое Тело. Как Он смирил себя: и теперь Христос во Мне и я в Нем. Потом причащал, давал крест. Приехал домой: подъезд, этаж, дверь. Но никто меня за дверью не ждет, не с кем поделиться радостью Рождества. Походил по пустой комнате. Слезы полились по щекам. Что-то часто я стал плакать, и слезы как-то скатываются, а не текут. Если успеваю, вытираю их кулаком. В праздники, говорят, плакать не положено. Ну а если плачется? В этих слезах есть и радость, радость Рождества. Все смешалось — слезы и радость. Слезы от доброты людской и от одиночества. Да простит мне их Господь. Поплачу и порадуюсь. Порадуюсь и поплачу. «Плакать с плачущими и радоваться с радующимися», — если это дано, значит, Господь рядом.

«Каждый вечер, как даль затуманится...» Сегодня очень спокойный вечер, и на душе как-то благостно. Может, оттого, что сегодня — крещенский сочельник. Спокойно-спокойно. Так редко бывает. Почему Господь дает одиночество? В суете трудно побыть наедине с Господом. Мы всегда должны быть с Ним, но в суете Его не замечаем. Он никогда от нас не отходит и никогда нас не оставляет — оставляем Его

мы. Незаметно Господь пришел к Иоанну креститься, вместе со всеми, незаметно входит Он и в наши сердца, в наши жилища, незаметно пришел в мир, родился, как простой смертный, в яслях и убожестве, и незаметно посещает нас, когда у нас тишина в душе. Он и на Крещение сходит на воды незаметно. Все Им освящается: и воды, и леса, и поля, и долины. Над всем миром Господь распростер Свои длани.

Я на Крещение видел, как старенькая бабушка с легкостью несла довольно большой бидон с крещенской водой. Эта бабушка подобна самой России: будь с Господом, и не будешь испытывать никаких тяжестей, черпай и черпай из Живоносного источника и никогда не умрешь, а будешь иметь жизнь вечную. Бабушка-самарянка с полным кувшином-бидоном живой воды понесла эту воду в селение, в московский дом, чтобы напоить жаждущих истины. Старенькая, лицо сморщенное, согнутая, а такая живая, с живой водой Крещения в руках. Я и сам сегодня утром попил водички с источника преподобного Сергия с таким чувством, что это крещенская водичка, ведь в этот день освящается все водное естество. Я думаю, что можно даже из-под крана набирать крещенскую воду — все и вся освящается. Крест погружается в воду, во всю вселенскую воду-купель, и на воду нисходит Дух Святой. Вот почему мы еще и живы. Господь всех нас животворит. Мы приходим оскверненные, а Он освящает. Он входит в эти воды, отягощенные нашими грехами, и делает их животворящими. Сколько людей входили в воды Иордана и крестились Иоанном Крестителем! Эти воды были тяжелыми от наших грехов, но Господь в них вошел — и они стали животворящими. Он, безгрешный, их освятил.

Мне от Тамары осталась бутылочка с крещенской водой. Этой бутылочке, наверное, лет двадцать пять-тридцать, а как будто только вчера ее налили — вода в ней светлая, вкусная. Я ее не трогаю — пусть стоит в память о Тамаре и о празднике Крещения, который был тридцать лет назад!

*

*Он идет путем жемчужным
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.*

Н. Гумилев

В седьмой больнице на Каширке мне все до боли знакомо: коридоры, палаты. В этой больнице лежала моя Тамара. Теперь здесь лежит тетушка отца Глеба Лидия Иосифовна, и я пришел ее причащать. В палате одни старушки, все земное для них осталось где-то позади, по крайней мере в тот день, когда я пришел к ним со Святыми Дарами. Они еще не завтракали — ждали Господа, пришедшего к ним в гости: на столике была приготовлена Трапеза Господня, и все от нее вкушали. Прошла их жизнь или то, что мы называем жизнью. А не заключается ли вся жизнь в этой Трапезе Господней, к которой мы всегда должны были бы стремиться? А может, жизнь только с этой Трапезы и начинается? И только тогда мы действительно живем? Ведь только вкушивший эту Трапезу Господню имеет Жизнь Вечную и Настоящую.

Вспоминаются слова моей мамы: «Сынок, ничего-то человеку в жизни не нужно, нужен только Господь». Мама поняла это еще молодой и всю оставшуюся жизнь прошла по этому пути. Она, бывало, скажет: «Всех дел все равно не переделаешь, лучше оденься

и иди в храм». И сама всегда этому правилу следовала. Еще апостол Павел говорил: «Не предавайтесь многозаботливости». Когда я причащал этих бабушек, я подумал о следовании за Христом. Конец пути о многом говорит. Земная жизнь подходит к концу: причащаясь, они поняли сегодня самое главное: без Господа ни жить нельзя, ни уходить из этого мира. Подумать только, какое бы здесь было Царство Любви, если бы мы об этом не забывали.

*И Христос идет путем жемчужным
По садам береговым.
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.*

*Ничего я в жизни не пойму,
Лишь шепчу: «Пусть плохо мне приходится,
Было хуже Богу моему,
И больнее было Богородице».*

Это написал Николай Гумилев, расстрелянный в 1921 году большевиками. Сколько людей погибло от рук злодеев, что, казалось бы, одно упоминание о коммунистах должно приводить в дрожь. Мы же равнодушны к погибшим, а значит, предаем их и тем самым готовим почву для новых зверств. Многие из них шли на смерть за Христа с молитвой к Нему. Гумилев не принял богоборческой власти, даже отказался принять из ее рук помилование, остался до конца верен присяге и, может быть, укреплял себя перед смертью мыслью о том, что «было хуже Богу моему и больнее было Богородице».

*А вон за тою дверцей,
Куда народ валит,
Там Иверское сердце
Червонное горит.*

М. Цветаева

Иверская часовня была сломана, снесена с Красной площади, а теперь я стою и служу в ней акафист, и прикладываются к иконе дети, которые не видели замороженную атеизмом страну. Для них часовня всегда была, и Божия Мать, и батюшка в голубом облачении, и ворота Иверские тоже были всегда. Если бы Марина Цветаева сейчас оказалась перед Иверской часовней, и для нее, наверное, все было бы так же, как в далеком 1916 году, когда она писала эти строки. Я люблю здесь молиться. Радостно служить в этом месте. Оно какое-то особенное. На Красной площади все прекрасно, за исключением мавзолея и оскверненной стены. Почему народ не придет, не встанет живой стеной и не потребует очистить некогда святую стену Кремля? Но люди проходят мимо и, к сожалению, не отличают скверны от святости. Льется молитва, к иконе подходят жених с невестой, а в то же время через Иверские ворота кучка людей с красными знаменами и плакатами — бредут, сами не зная куда и для чего. Они здесь совершенно лишние, как и тот, кто лежит под красным мрамором.

Может, помолимся поусердней, и сдует молитвой красные знамена и нечестивые гробницы с Красной площади.

Сестра Антония из монастыря Марии Магдалины приехала ко мне на юбилей — тридцать лет служения в Церкви — и подарила большой деревянный крест. С тыльной стороны креста в небольших углублениях размещены камешки: в самой верхней части — камешек от гробницы Божией Матери; потом камешек с Иордана, земля с кровью святого Димитрия Солунского; камешки от Гроба Господня, из пещеры Иоанна Лествичника, от горы Синай, из Тивериадского моря, с горы Иерихон, из монастыря святой Марии Магдалины, от Голгофы. «Вы никак не выберетесь в Святой Град, — сказала сестра Антония, — а он сам пришел».

Сестру Антонию очень хорошо принимали в нашем храме, она несколько лет в нем работала, убирала, готовила, учила детишек церковно-славянскому языку. А теперь она привезла с собой дух примирения с Русской Зарубежной Церковью. Я, правда, никогда не чувствовал разделения, ведь нас разделяет что-то внешнее, несущественное для Бога, а соединяют любовь и вера. Ссорятся богословы и чиновники, а простые люди, как показал приезд Антонии, слава Богу, могут с любовью во Христе принимать друг друга.

Инокания Антония прислала мне лимон с зелеными листочками из Гефсиманского сада. Листики я вложил в книгу, с лимоном стал пить чай. А затем нашел горшочек, положил земли, сделал ямку, перекрестился, засыпал землей, полил архангельской водичкой, благословил, и теперь жду — вдруг произойдет чудо и я выращу небольшой гефсиманский садик. Теперь каждое утро поливаю и жду росточка.

Я это зернышко закопал в землю, как в могилу, и оно должно воскреснуть. Вот и человек так же погребается в надежде на воскресение. Камень приложили ко двери гроба, а он был отвален, и Христос Воскрес. Буду ждать, молиться и поливать, а если будут лимоны, подарю самым близким, а может, и сестре Антонии пошлю в Иерусалим из своего Гефсиманского сада. Уж очень хочется, чтобы выросло деревце с зелеными плодами. В жизни так много чудесного. Разве лимон из Гефсиманского сада сам по себе не чудо? Со Святой земли прибыл прямо ко мне в московскую квартиру. Я и не мечтал о таком. Закрою глаза, а передо мной Гефсиманский сад, и Спаситель молится за нас за всех, за наши грехи. И нас к молитве призывает. Помолюсь о своих грехах и о том, чтобы вырос лимон и появилась в моем доме частичка Гефсиманского сада.

Мы с Катей, сестрой инокини Антонии, заговорили о цветах: я сказал ей, что посадил семечко лимона из Гефсиманского сада, оно проросло и уже два листика появились. А Катя, оказывается, со своими цветами разговаривает.

Лимонное деревце у меня, правда, еще небольшое. Но мы ведь и с маленькими детишками разговариваем. Вот и я сказал своему деревцу: «Как прекрасно, что ты в моем доме. Я тебе что-нибудь расскажу, а ты мне. Ведь ты оттуда, где молился Спаситель. Прародители твои видели Самого Христа и Его учеников. Думало ли ты, что очутишься в заснеженной Москве и будешь напоминать мне о тех чудесных событиях, которые происходили две тысячи лет назад?» И тут два крошечных листочка

зашевелились. Вот мы и поговорили. Теперь каждый вечер я буду рассказывать о службе, о моих поездках, а деревце — о Святой земле. Узнаю, как там живет Антония; когда я буду уходить, деревце будет говорить «до свидания», а приду — услышу «здравствуй». Настанет время, когда мы скажем друг другу «прощай» и мирно отойдем ко Господу, и Гефсиманский сад примет меня в свои объятия, и Христос будет с нами!

Сейчас очень много пишут о Христе, о Церкви, но далеко не все книги вызывают доверие. Я знаю лично нескольких таких писателей и удивляюсь, что в общении они не такие, какими хотят показать себя в своих творениях. Сердца их пока закрыты для Христа.

Мне кажется, с такими людьми надо быть настороже. Завтра ситуация изменится, изменятся и они. Зачем вымучивать из себя христианство, если они не пришли ко Христу? При разговоре с такими людьми чувствую, как далеки они от Христа: не исповедуются и не причащаются, только пишут о Господе и о Церкви. Ясно, что они играют в веру. Неужели куда подует, туда и подаются? Уличить их очень трудно, потому что слова они пишут вроде бы верные, но нет в тех словах любви к Богу. Еще вчера они были атеистами, уж лучше бы ими и оставались, так было бы честнее. Хотят кого-то обмануть, да ведь Бога-то не обманешь. Ходили бы в Церковь... Писать, говорить о Христе и в Него не верить... Актерство да и только.

На день Трифона мученика я поехал в Храм Всех скорбящих Радости, где тридцать лет назад рукополагался. Приехал часам к десяти утра: у кануна шло заочное отпевание, у чудотворной иконы — молебен. Молебен служил батюшка лет сорока: быстро скороговоркой читал записки. Когда он произнес: «Ко Пресвятой...», — у меня дрогнуло сердце, я встал на колени, но то, что я услышал, нельзя было назвать молитвой. Такой скороговорки я за всю жизнь не слышал, нельзя было понять ни слова. Молодая женщина, стоявшая рядом со мной, ошарашено смотрела на священника. Затем он поднялся на солею и произнес длинный отпуст, помянув чуть ли не половину святцев. На вразумительную молитву у него времени не оказалось, а на чтение записок и отпуст с «длинной бородой» время нашлось. Заочное отпевание совершал более молодой священник, служил полным чином, но спешил тоже так, будто за ним гнались. Лучше бы чин сократил, но произносил слова членораздельно, иначе люди не понимают ни слова.

Посмотрел я на нас, священников, со стороны, и увидел, что нас вовсе не волнует, понимают ли люди слова молитвы. Лучше бы меньше читали, но не торопясь, от всего сердца, стараясь донести слова молитвы до людей. Молиться надо не одному в толпе, а объединяться в молитве со всеми пришедшими в храм Божий, чтобы все были единое целое.

В наших монастырях появились иеромонахи и архимандриты, которые многим людям говорят, что они бесноватые. Эти несчастные потом приходят ко мне на исповедь. Недавно одна женщина уверяла меня, что у нее бесноватый сын, потому что у него каждую осень поднимается температура. Я спрашиваю:

- К врачам обращались?
- Врачи говорят, что у него ангина.
- Почему же ты думаешь, что он бесноватый?
- Священник в Псково-Печорской лавре сказал, что в него бес вселился.

И такое я слышу от людей довольно часто. Одни приходят в отчаяние, а у других появляется странная радость, будто они наконец узнали истинную причину своих несчастий. Приходят в церковь и ищут подтверждения у приходских священников. А когда я не подтверждаю «диагноз», некоторые уходят разочарованные. Не могу понять, почему здоровые люди желают быть бесноватыми и что заставляет монахов видеть бесов там, где их нет? Сегодня это превратилось в своего рода монастырское хобби. Как-то подошла ко мне девушка и радостно сообщила:

- Я бесноватая.
 - Кто тебе сказал?
 - Священник.
 - Дура ты, а не бесноватая, — сказал я в сердцах и хлопнул ее ладонью по голове.
- В ответ она мило рассмеялась.

Я видел настоящих бесноватых. Одна такая несчастная ходила к нам в храм. Я просил ее стоять за дверью в притворе и входить в храм только перед самым причастием. Она могла своим поведением детей напугать во время службы.

А вот желающие быть бесноватыми — это что-то новое в Церкви. Я таких предупреждаю: будете твердить, что в вас бес вселился, — пеняйте на себя!

Встретил я отца В.: «Отец Вячеслав, здравствуйте». Я вначале даже не узнал, а это он, тот самый измайловский мальчик в валеночках. Только теперь на мальчике нет валенок, да и ростом он вымахал мне под стать. А вот целования у нас как-то не получилось. Что-то эфемерное, воздушное — целовали воздух. Но не по моей вине. В последнее время я заметил, в патриархии все так целуются. Все отрепетировано. Как-то не по-русски...

Уж лучше бы я не встречал этого отца В. Он, правда, слегка смутился, заспешил: «Мне надо идти, меня ждут...»

А вдруг я тоже так изменился? Какой ужас, если это так. Но только до этой встречи я ни с кем тройным воздушным поцелуем еще не целовался. Я хотел ему еще что-то сказать, спросить, верит ли он в то, что пишет, о чем говорит в своих выступлениях. Но этот тройной поцелуй, как тройной одеколон, все испортил. Язык не повернулся ни о чем его спрашивать. Мне стало стыдно и за себя и за него.

Да, другие настали времена, и валеночки никто не носит, и поцелуи стали какие-то компьютерные, да и люди тоже.

Человек нашел себя в Церкви... и потерял. Это страшно. Если бы не этот поцелуй, может, я бы еще сомневался, но он все расставил по своим местам.

Когда я служил в Измайлове, мне попала в руки тетрадь с проповедью отца Павла Флоренского о Херувимской песни. Эта проповедь меня пронзила, меня поразили уже начальные слова: «Мы, таинственно изображающие херувимов...», то есть мы, находящиеся в храме, все, «воспевающие трисвятую песнь творящей жизнь Троице,

оставим сейчас всякую житейскую думу, чтобы поднять Царя всех, невидимо копыеносимого чинами Ангельскими»...

И отец Павел Флоренский восклицает: «Какие загадочные слова поются за литургией, и кто их может слышать без трепета!» И я подумал: «А трепещем ли мы? Или просто пропускаем через себя, а может, думаем в это время о чем-то своем и вообще не слушаем. И о каком же сходстве нашем с херувимами идет речь? Оно — не явное, не телесное, не сходство человека и портрета его. Сходство с херувимами — внутреннее и сокровенное. Все мы покрыты грехом. Образ Божий в нас затемнен, закопчен, запачкан. Если снять с нас одежду, мы увидим тело, подверженное искушениям, болезням и смерти. Если отделить тело, мы увидим толстый слой грехов, как ржавчина, изъевших душу. Но если снять с души эту смрадную часть, то в самой сердцевине мы увидим Ангела Хранителя...

*В церкви — смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет, и в церкви все не так,
Все не так, как надо.*

В. Высоцкий

Молодые батюшки не знают того, через что прошли батюшки пожилые. Сейчас легко говорить с людьми в Церкви, а в советское время я никогда не знал, кто передо мной стоит: ищущий Христа или служащий партии? Хороших священников преследовали, а плохих поощряли. Неспроста Высоцкий написал эти строки. Кто знает, пришел он, может быть, в церковь, встретил простого требоисполнителя и ушел разочарованный. Не может человек не искать Бога. Искал Бога и Высоцкий, да, видно, не получилось найти Его в Церкви.

Высоцкий говорил правду и пел про нее так, что щемило сердце. «Обложили меня, обложили». Хотел вырваться, но не смог.

«Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо...» Нам всем в этом и каяться. «Петли дверные многим скрипят, многим поют: кто вы такие? Вас здесь не ждут! Но парус! Порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь...»

Людмила Владимировна Абрамова, мать двоих детей Высоцкого, вспоминает: «Перед поездкой в Армению Володя попросил у меня крест, там он хотел принять крещение. Я подарила ему женский Георгиевский крест, доставшийся мне от прабабушки Елизаветы Ивановны Петровской. (Женские Георгиевские кресты вручались сестрам милосердия)». Отпевал Владимира Высоцкого отец Ростислав, друг Юрия Петровича Любимова.

Сегодня храм был переполнен, было много незнакомых лиц. Пришла община отца Георгия Кочеткова. Жаль их: батюшка столько людей к Богу привел, а его гонят. Потому и гонят. На моем веку многих гнали: авторов Открытого письма отца Глеба Якунина и отца Николая Эшлимана, отца Димитрия Дудко, архиепископа Гермогена (Голубева), отца Мартирия, «подгоняют» отца Александра Борисова, отца Георгия

Чистякова. Почти всех батюшек, всерьез работающих со своей паствой, болеющих за людей и за Церковь, гонят.

Многие из наших прихожан приняли общину отца Георгия со злобой и укорами: они, мол, не такие, как мы, что это они с книжками стоят, да во время службы целуются, приветствуют друг друга словами «Христос посреди нас!» — и отвечают: «И есть и будет!» Гонимая община пришла помолиться со словами, которыми священники обмениваются в алтаре, «Христос посреди нас!», а мы им будто ответили: «Нет и не будет!» — обозвали сектой и выгнали из храма. А ведь Господь всех принимает. Как мы перед Ним оправдаемся, когда Он спросит нас, приняли ли мы странника в дом, то есть приняли ли Его Самого? Фарисеи мы, а фарисей ушел из храма, не оправданный Богом.

И какую любовь после этого мы принесем в наши семьи? Не лучше ли было радостно ответить пришедшим: «И есть и будет!» — да принять их в дом, в котором не мы хозяева, а Сам Господь.

Крестил сегодня больных пожилых людей, мать и сына. Их сопровождала крестная, которая во время крестин все улыбалась мне с надеждой в глазах. После крестин подошла ко мне и рассказала свою историю. Однажды она зашла в храм с косметикой на лице, а священник ее выгнал, громко обругав при всех. Ей стало плохо с сердцем, и она оказалась в больнице, пережив то ли insult, то ли инфаркт. Она и меня опасалась во время крестин, вдруг и я что-нибудь подобное выкину. В то же время ей хотелось верить, что тот священник был прав, а она получила по заслугам. Она даже предполагала, что я одобряю его поступок.

Но о каком одобрении можно говорить? Человек желал прикоснуться к ризе Христовой, а Христа в ризе не оказалось. Пришел к Богу, а попал в больницу. А ведь в Евангелии женщина, что прикоснулась к ризе Спасителя, получила исцеление.

Накануне дня рождения и именин Тамариной мамы Евфросинии я поехал на Хованское кладбище. Батюшка в белом подризнике, в скуфейке, с крестиком, подошел к автобусной остановке и поклонился мне. Я думал, он знает меня, оказалось нет, просто из вежливости. Народа на первый утренний автобус накопилось много. Стали садиться: батюшку оттирают, все места заняли, в основном сидят старушки, но есть и молодые люди. Батюшка оказался на нижней ступеньке у самой двери. Рядом мужчина лет сорока пяти. Сидит довольный, что занял место.

Помню мама рассказывала: «Я ехала на подворье: входит молоденький красивый священник, на нем ряса, крест. Все сидят. Я встала, подошла к нему (а маме лет восемьдесят было): «Батюшка, идите садитесь». Он смутился: «Бабушка, да вы что, сидите, сидите». Но я отказалась. Ну как я буду сидеть, когда священник стоит».

И тогда кто-то маме уступил место. А я стоял в автобусе и думал: люди едут на кладбище, с ними батюшка, который, может быть, отпевал их родственников, провожал в последний путь. И в нашей кричащей на всех углах о Православии стране никто не уступил место православному священнику. Люди задевали его сумками, ему приходилось прижиматься к поручням. Русь святая, храни веру православную, — читаем мы везде. Вот ТАК храним...

Иоанн Богослов труден в толковании. Его Откровение не каждому доступно. Число 666, или лучше прописью, как в Откровении, шестьсот шестьдесят шесть... Сейчас произошел какой-то обвал трех шестерок на православных: от всемирной компьютеризации на основе этих чисел до заклепок на куртках. Все напуганы.

У меня с детства в глазах восемнадцатый стих тринадцатой главы из Откровения: «...здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». За этим числом стоит человеческая личность: Нерон, Петр I, Ленин, Сталин. В России в первые послереволюционные годы многие были уверены, что Антихрист — Ленин. Выкладывали из спичек 666, а затем из тех же спичек — Ленин. И смертельная рана, которая зажила, и время правления с 17-го по 21-й год — три с половиной года (потом он уже впал в маразм и не управлял), и страшные гонения на христиан — все подтверждало пророчество Иоанна Богослова. То, что он Антихрист, передавалось из уст в уста. Но, наверное, он все же оказался предтечей Антихриста. Многие были уверены, что Сталин — второй зверь по Откровению — оживит Ленина: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Невольно задумаешься: для чего он лежит в мавзолее и никто не может его оттуда убрать? Так что не ищите печати зверя в компьютерных числах, штрихкодах, карточках. Реальный человек, противник Христа стоит за этим числом, и об этом ясно сказано в Откровении. Пока такого человека нет. Те, кто были похожи на него, ушли из этого мира. Единственный, кто этот мир покинул не совсем, лежит на Красной площади. Чего он ждет и чего ждем мы? Его восстания? Почему не убираем, не хороним? Об этом мало кто думает, все заняты числом шестьсот шестьдесят шесть на куртках, на карточках, на автобусах. Как бы нам не прозевать грядущего Антихриста, который воссядет на престоле, как бог. А мы поклонимся ему. Да не будет этого! Когда он придет к власти, он всем: малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — поставит печать на правую руку и на чело. И скорее всего это будет духовное начертание, чтобы в голове у человека не было даже мысли о Боге и чтобы рука его не тянулась к совершению крестного знамения. Вот тогда и придет конец!

Очень страшно учить других, наставлять, говорить проповеди. Отказаться? Да ведь Господь поставил. Я, несмотря на все свои грехи, в это верю. Поставил служить и нести Его слово людям. Уж очень болит у меня душа, когда вижу человека без Бога. Жалко его и страшно за него. Вот и начинаешь проповедовать, вживлять Бога в его неверующее сердце. «Жить для того, чтобы хоть один человек мог вдруг почувствовать близость Бога, Ему поклониться», — пишет митрополит Антоний (Блум). У меня всю жизнь огромное желание помочь людям услышать Бога, поверить, что Бог есть, и начать строить свои отношения с Ним. Я в юности собирал изречения ученых и писателей, стихи о Боге переписывал, строил собственную систему доказательств, в глубине души понимая, что доказать ничего нельзя, что человек должен сам почувствовать Бога. Но все-таки мои доказательства могли заставить хотя бы задуматься о духовном. А когда я стал священником, сделал это смыслом служения: особенно старался во время крестин, поскольку креститься приходят в основном молодые и очень далекие от Церкви люди. В советское время у меня выработался определенный метод: я находил примеры из

книг, фильмов, использовал то, что людям было хорошо известно. Даже у Маркса нашел замечательную фразу: «Христианство есть сердце в этом бессердечном мире». Мне казалось, что мое доказательство звучит логично, красиво, убедительно, а человека, бывало, ничего не берет, стоит на своем — и все тут. Многие и сейчас живут без Бога: мечутся как слепые котята, которых нужно мордочкой ткнуть в миску с молоком. А кто это сделает, как не священник? Как подумаешь о своих грехах — заколеблешься. А вспомнишь, что людей надо вести ко Христу, и соберешься в комок: надо, Господь поставил, спасай других, может, и себя спасешь. Молитва помогает, службы, обращение к Богу, к Божией Матери. Тридцать лет служу, не знаю, сколько мне отмерено, но очень хочется молиться за других — это мое дело на земле. Хоть ползком, но к Богу. Лучше конечно, не ползти, а идти, да за грехи ползти приходится, только бы отслужить, что Господом поручено, а без этого и жизни не будет. Помолитесь и помогите мне пройти свой священнический путь до конца. Помогите грешному батюшке и простите!

В Чертанове на приходе служат монахи. При советской власти это было бы понятно, потому что тогда монахов выгоняли из монастырей. Но сегодня такого быть не должно. Монахам приходится крестить и венчать, а им это не положено. Нет у них здесь ни кельи, ни монастыря, а церковные доходы привязывают их к земным благам: машинам, квартирам. У монаха ведь другой путь, молитвенный и аскетический.

Сегодня утром я шел зачарованным лесом. Светила луна, засыпанный снегом лес... Такая красота — никакими словами не опишешь. Дорогу я знал, шел и молился. Молитва сама рвалась из души. Ни один человек мне не встретился, только птичка пролетела. Белые березки в лунном свете и тропинки, до боли знакомые. Если бы не спешил, можно было бы бродить до рассвета. Я очень люблю ранние часы. Для этого и встаю пораньше. Идешь — пересечение дорожек, одна уходит вниз, другая — вверх. Наши дорожки с Тамарой, мы по ним ходили и летом, и осенью, и зимой. Так и вижу, как мы идем вдвоем. Вот здесь отдыхали, грелись на солнышке, загорали, поругались, помирились. Господь продлил мою жизнь, и я все это по-новому переживаю. Бывает, приду и сижу, — и хорошо и больно. Хорошо, что когда-то здесь были вдвоем; больно, что теперь один. Вот под этим деревом от дождя прятались — я подойду и постою под ним. А на этом бревнышке сидели. А здесь ломал еловые лапы для Нового года, приносили домой, ставили в трехлитровые банки с водой и вешали несколько игрушек и гирлянды. До Нового года осталось каких-то десять дней.

Новогодняя ночь. Я один. Где-то лежат наши игрушки, на антресолях Дед Мороз... Где-то в каком-то лесу так и не родилась наша елочка... Скоро полночь, все поднимут бокалы, станут желать что-то доброе друг другу, будут петь и смеяться. А я лягу спать, и мне приснится новогодняя ночь ровно сорок лет назад, елочка во Втором Подольском, первая елочка в моей жизни... елочка с Тамарой. Мы с мамой никогда елок не наряжали и Новый год не отмечали. Может, был бы папа жив, все было бы иначе.

А с Тамарой мы покупали елку, наряжали, а когда гасили свет, игрушки светились сказочным светом, белела печка, Дед Мороз выглядывал из-под веток. Где-то в своем

подвальчике спала моя мама. Ей снился храм, Споручница грешных, святитель Николай, мы с Тамарой, и она была счастлива и спокойна за нас. Где сейчас бродит тот Новый год? В каком лесу? Вспоминает ли нас? А наступает 2002-й, с этим Дедом Морозом я совсем не знаком, и он обходит меня стороной.

Да и зачем наряжать елку? Иди в лес и любуйся. Никакими игрушками так не украсишь, как она украшена Господом в лесу, — снежком, шишками и еловым запахом... Ее освещает лунный свет, по веточкам прыгают белочки, снуют птички. Мне захотелось пойти в лес и встретить Новый год под елью, среди сугробов, при ярком лунном свете и пропеть Богу хвалу за ту красоту, в которой Он нас поселил. «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение»... А невидимые нам ангелы, наверное, подхватили бы эту песнь и разнесли по всему миру. Ведь скоро Рождество. Хорошо бы взять мешок с конфетами, закинуть его за плечо и угощать всех ребятишек, встречающихся на пути. Священник Дед Мороз может и елку и детишек благословить, и помолиться о них.. Как хорошо в этом мире! А в том, который нас ждет, будет еще удивительней. Тот никакими словами не опишешь!

Зашел в церковь Космы и Дамиана в Шубине. Уже при входе услышал голос отца Георгия Чистякова, читающего Евангелие: с какой верой и отдачей он нес слова Христа людям. Затем перешел к проповеди, которая стала живым продолжением Евангелия. Вся служба шла на одном дыхании, зажигала людей: тайные молитвы он вычитывал вслух перед народом, а народ по-настоящему молился, внимал своему пастырю. А когда, обратившись к народу с воздетыми руками, он произнес: «Христос посреди нас!» — то пошел через весь храм ко мне, и мы троекратно поцеловались: «И есть и будет!». В храме много молодежи, исповедников. Я подошел ко кресту и поблагодарил отца Георгия за чудесную службу.

Слава Богу, что Он привел меня в этот храм. Мало сказать, что отец Георгий умеет служить, он умеет молиться, и слово его становится действенным, оно радостью наполняет сердца людей.

После службы там был обед для всех желающих, по всему храму столы стоят, за ними сидят: бродяги с измятыми и побитыми лицами, просто оголодавший люд. «Садитесь, вы покушать?» Я отказался, вышел из храма и посмотрел на свое отражение в витрине магазина. А что? Чем не бродяга бездомный? Правда, у меня дома есть еда. А не было бы — пообедал у Космы и Дамиана.

Каждый, кто выходил из храма после обеда, крестился и делал поклон. За порогом храма кипит другая жизнь: верткая, хваткая, шумная, безалаберная. А храм — как островок, приют, пристань. Зайдешь внутрь — и все по-другому. Иногда человек заходит ненароком в храм и стоит как вкопанный. Огромная сила заложена в этом доме, может сразу преобразить. Господи, все оставляю, все брошу, только бы быть с тобой...

На Тверской их два: храм Взыскания погибших и Космы и Дамиана. Стоят на пути и зовут к себе. Кругом рестораны, шикарные магазины, гуляй не хочу, если есть на что. А в храме ничего не нужно, только заверни и тебя накормит Господь. И эту трапезу не сравнить ни с какими мирскими утехами. Господь всех позвал, а пришли одни бродяжки. Много званных, да мало избранных!

Хочется, чтобы в Церкви было больше свободы, чтобы прихожане встречали в ней Божью любовь, а главное — Самого Бога. То, на каком языке они будут беседовать с Богом, уже не важно. С Господом можно разговаривать на любом языке. Слово Божие должно доходить до человека и касаться его сердца. А если человек стоит в храме и ничего не понимает, какой в этом толк? Особенно досадно, когда не понимают ни апостольского, ни евангельского чтения. Что же всем теперь Семинарию оканчивать, чтобы службу понимать? У отца Александра Борисова Евангелие читают по-русски лицом к народу. Что в этом плохого? Христос ведь говорил на языке, понятном людям. Не надо усложнять проблему языка и обвинять людей, служащих на своем родном языке, чуть ли не в ереси. Сердце должно быть обращено к Богу, а по-русски будет человек обращаться ко Христу или по-английски — не имеет значения. Не в языке дело, а в сердце.

Несколько лет назад после службы в храме Феодора Стратилата.

— Батюшка, вас там старичок спрашивает.

— Отец Вячеслав, я архиепископ Михаил Мудьюгин.

— Владыко, благословите.

Я часто видел его за поздней литургией, он стоял у правого клироса, как простой мирянин, и молился. Позднее попал в опалу и умер.

Со священником делятся самыми глубокими переживаниями. Человек раскрывается до конца, до самой последней черточки. Недаром есть такое выражение — «как на духу». Чувствует человек Господа в храме, как нигде. В жизни мы все немного играем: здесь же нет никакой игры: в радости ли, в горе, человек как на ладони. Человек преображается перед священником, только что он бежал куда-то, и вдруг... останавливается перед батюшкой и меняется на глазах. Так это быстро происходит, что диву даешься. Какую благодать дает священнику Господь: эта благодать и открывает в человеке самое сокровенное.

Когда-то меня очень притягивал телевизор: я смотрел новости, фильмы, помню «Семнадцать мгновений весны», концерты. Но всегда чувствовал — что-то здесь не так: после него шалеешь, как будто в другом мире оказываешься, где реальности нет, а есть нечто иное, что жизнью назвать нельзя. И тянет, тянет к этой «не жизни». Я стал бояться включенного ящика. Без него так хорошо можно поговорить. Он же не сближает, а разобщает, отделяет друг от друга. И кто только его выдумал? Нужно Нобелевскую премию дать — за разобщение людей, за разделение семей. Все вокруг кричат: «Телевизор смотреть нельзя!» — и... все смотрят. Стоит он в красном углу, где раньше были иконы, где лилась молитва, которая соединяла людей, вносила теплоту в человеческие отношения. А телевидение — холодное, неживое, светящееся фосфорическим светом. И тот, кто сидит перед ящиком, тоже так начинает светиться. Здесь другой свет, не Христов. Что-то плохое мы выпустили в свои комнаты. Надо, чтобы нас тянуло к молитве, а не к телевизору. Ведь есть люди, которые не смотрят, а молятся. Может, и вымолят нас, грешных, из этих телевизионных объятий. Очень жалко

детей, прилипших к экранам. Что с ними будет? Они на исповеди раскаиваются в телевизионмании, только совладать с ней не могут.

Я уже много лет живу без телевизора. Он стоит, но его нет. А есть тихие и благодатные вечера, есть молитва, есть книги и рукописи. Нет этого «ящика для идиотов», этой глупой страсти. Попробуйте пожить какое-то время без «ящика». Да будет Господь вам в этом помощником!

Многое изменилось у нас в стране: свободно продается «Архипелаг ГУЛАГ», открыты храмы, растёт новое поколение верующих детей, столько доброго и хорошего открыто для людей, а они все равно тянутся к плохому. В чем-то закоsnели мы и никак не придем в себя. Ведь можно уберечь себя от зла молитвой, таинствами Церкви. Поменьше смотреть телевизор, не читать что попало, следить за своей речью. На исповеди дети раскаиваются в плохих словах, которые они произносят. Божий мир — он прекрасен, а мы его сделали таким жестоким и темным. Каждый начини с себя и исправь в себе что-нибудь. Ведь всех нас ждет вечность, а в вечности — Господь. Неужели ради встречи с Ним не изменимся, не сделаемся лучше? Жизнь так быстро проходит. Ведь Господь не спросит, сколько фильмов ты посмотрел по телевизору, а спросит, был ли добр, помог ли в нужде, любил ли родителей, сестренку, братика. Что же мы так бежим от хорошего и погружаемся в плохое? Потом это выливается в трагедии, в которых мы все повинны. Я нашел этому подтверждение в словах одного батюшки: «Невидимые составляющие несправедливой жизни отдельных членов человеческого общества, а чаще всего его большинства, в сумме дают печальные результаты».

Чем мы будем чище, лучше, светлее, тем вокруг нас будет больше светлого, Божеского. Мне нравятся слова отца Алексея Мечева: «Будьте солнышками, согревающими других».

Люблю вечером сухари грызть. Я их специально сушу из бородинского хлеба. Вкусные получаются, особенно их приятно грызть зимой. За окном стужа, снег, мороз, а у тебя сухарики. Они как будто источают тепло печки и солнца. Такие славные ребята, немного подгорелые, но все мне улыбаются: «Мы сухарики, brave ребята, все как на подбор». Они меня очень поддерживают, и у меня не переводятся. Возьму пригоршню — и сидим хрустим. Из простого черного хлеба такие не получаются, только из бородинского. А может, они такие славные оттого, что Бородино вспоминают и когда сушатся — поют: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французам отдана...» Бородинские ребята бедовые: в огне не горят и в воде не тонут, то есть ни в чае, ни в молоке.

«А не погрызть ли нам сухариков, отец Вячеслав?» Это я сам себя спрашиваю. Встаю и иду на кухню, набираю пригоршню, крещусь и целый вечер хрещу.

Я все никак не мог покрасить лоджию. Последний раз красил в голубой цвет еще при Тамаре. Во многих местах краска сошла, облупилась, а я все не могу решиться. Помню, переодевался во что-нибудь старенькое, доставал банку с краской, размешивал палочкой березовой и усердно красил. Вот и сегодня лежу, а голос внутри: вставай и крась. Надел шапку с козырьком и часа полтора усердно трудился на жаре: прошкурил сначала, а потом покрасил.

Лоджия преобразилась... Жаль, некому показать.

Поставить бы в каждом дворе часовню из бревнышек: с куполом, крестиком, с образами. Бегали бы дети и остерегались дурного: ой, ведь здесь Боженька, а мы деремся, язык показываем, обижаем друг друга. Мамы заглянули бы на минуточку, детишки бы свечки зажгли, а в праздник к ним батюшка пришел бы. Мне кажется, вся жизнь пошла бы по-другому. Ведь стоят во дворах катки, баскетбольные площадки — для физического развития, а часовенка была бы для духовного. В новых районах храмов мало. Вышли бы папы и построили часовню, вместо того чтобы в домино играть или пить. Ведь от нас зависит духовное здоровье наших детей. И почему никому эта мысль в голову не пришла? Чего только не строят: бассейны, детские городки, сажают что-то. Напомнили бы часовни детям о Творце, без Которого жизнь ничего не стоит. Двор и часовенка, где можно помолиться, очень кратко, поставить свечку. Мы должны помнить, писал Гоголь, что являемся гражданами не только отечества земного, но и отечества небесного. Можно было бы эти слова над дверью каждой часовни написать. Вот было бы здорово!

У нас в подъезде появились консьержки. В кабинке у них лежак, кресло, телефон, на столе часто сидит кошка. Все консьержки что-нибудь читают. Одна консьержка улыбочивая, а другая — серьезная, неразговорчивая, головы от книги не поднимет. Я пригляделся к книге: страницы столбиками... да это же Библия! В другой раз прохожу, а она из Библии что-то в тетраточку выписывает. Мне сразу на душе легче стало.

Я все бегу и бегу. От кого убегаю? От самого себя. Встаю очень рано, кратко молюсь, сумку в руку — и бегом. Могилки, свечечки, поклоны... Скользко. Когда спускался к маме, чуть не упал, за куст схватился. Попросил у мамы с Тамарой поддержки, и не только себе, но и другим. И бегом, в метро: Библиотека, Боровицкие ворота, Александровский сад. Время пол-девятого. Иверская часовня. Сколько на иконе колец, золотых крестов, вся икона увешана, эти приношения — благодарность Божией Матери. До чугунного пола поклонился, поставил свечи и — в Казанский. Там часы идут, литургия еще не начиналась. Затешил свечки перед образом на кануне. Рядом ГУМ, где Тамара работала. Поднялся на второй этаж, постоял у ее секции. Здесь наша молодость. Пошел на Тверскую, немного прошел, вернулся и — в Хамовники. А вот и Божия Матерь Споручница, святой Николай. Прошу о том, чтобы не была посрамлена молитва и упование учеников воскресной школы Гоши и его сестры Сашеньки, и — в старый дом. Зашел купить журнал, посмотрел на свои окна и — в метро, к маме в

Беляево. Пропел в маминой комнате акафист Споручнице, хотя и в метро его пел, но если поется, почему не спеть? И через час — домой в Чертаново. В лесу ни души, солнца нет, птички щебечут. В половине второго я дома. Пообедал, вымыл посуду, в половине четвертого упал на кровать и до половины седьмого проспал. Вот такой день. Что задумал — сделал. Поужинал и остался один. Теперь куда бежать, от кого? От себя убегать некуда. Вечер, за окном темно. Завтра будет другой день, и опять начнется бег. Так всю жизнь и бегу. И чем раньше встанешь, тем больше пробежишь, таков закон. Это сейчас темно, а будет светло. Полпятого бы встать и в поход. Сколько можно дел переделать, сколько мест посетить, сколько поклонов отбить... Вся жизнь в бегах. И куда только мы бежим, куда торопимся? Но бегом и спасаюсь. Завтра опять побегу. Присоединяйтесь, вместе побежим: впереди батюшка, высунув язык, а вы за мной.

Сегодня я везде голубков кормил. Бегают голуби и вдруг видят хлеб, вначале не верят своему счастью, а потом начинают с удивлением клевать. Мама всегда с собой хлеб для них носила. Ношу теперь и я. Голубчики всегда встречают меня при выходе из метро «Тургеневская». Я только из дверей выхожу, а они уже обступают меня и в сумку лезут.

Как-то на Даниловском кладбище, когда я кормил голубей, ко мне подошел молодой священник в рясе и кресте и резко сказал: «Зачем вы кормите голубей? Они же на купола гадят». Я промолчал. Только ведь у птиц ни квартир, ни туалетов нет, так что же им теперь? не жить? Мама всегда в голубе видела символ Духа Святого и называла их святыми птичками. Птицы небесные, как известно, не сеют, не жнут, а Отец Небесный питает их. Сам Господь питает, а нам, значит, нельзя?!

Раньше в газетах была такая рубрика — «За бегущей строкой». Куда и зачем бежали эти строки? Недавно прочитал у Андрея Битова: «И вдруг как бы написалась на этом сталинском мраморе метро строка — бегущая строка — «Без Бога жизнь бессмысленна». И я спокойно спустился в метро, поехал дальше. Для меня это была грань! Либо вера, либо безумие...» Как хорошо перекликаются эти строки со словами царя Давида: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог...» Это непреложная истина. Я сижу на лоджии и в тихом веянии ветерка чувствую Бога. Смотрю на лес — и там Господь. Плавают облака — и в них Господь. Заглядываю в свое сердце — и в нем Господь. Детишки качаются на качелях — и с ними Господь. Господь в могилках наших близких, и в воздухе, и в глубинах земли. И солнце, которое нас греет, согрето любовью Господа. И так это прекрасно, что везде Господь — в каждом ростке, в каждом цветке. Но человеку, воспитанному без Бога, нужно потрудиться над собой, чтобы почувствовать Бога во всем. Ведь без Него жизнь бессмысленна. Человек должен сам выбрать: «либо вера, либо безумие».

Купался я в Воронках, смотрю — утка и шесть утят: шесть маленьких комочков. Бросил им хлеба. Утята сгрудились у самых моих ног и ну расчесывать хлеб шершавыми клювиками. А мама-утка смотрит на меня и что-то говорит, я по-утиному не понимаю, но чувствую, что она произносит свои утиные слова: она откроет свой клювик, скажет

мне что-то и закроет. Я понял, что она меня благодарит за то, что я накормил ее утят, и совершенно меня не боится, как будто мы родные, словно мы в раю, где друг друга не боялись. Она что-то сказала детишкам про меня, может быть: это наш родственник, чего же его бояться.

Как-то на лесной тропинке я встретил ежа. По дорожке двигался небольшой комочек с иголками. Я очень обрадовался, подошел поближе, ежик свернулся в клубок, стал почти круглый и зашипел. Я нагнулся: «Ежик, не бойся, я тебя не обижу». Он высунул носик пуговкой, открыл глазки и несколько секунд на меня смотрел, а потом опять скрылся в своих колючках. Я уходил и все оборачивался, но он так и не зашевелился, и мне стало стыдно, что я невольно его обидел. Сейчас, когда прохожу по этой дорожке, вспоминаю моего ежа и мамыны слова: «Еж, куда ползешь?» — так они в деревне дразнили одного мальчишку.

А больше я никогда ежей не встречал. Может, мы по разным дорожкам ходим. Но какая же уморительная у того ежа была мордочка! Так и хотелось его погладить. А он иголки выставил и шипит.

Что ж, у каждого своя жизнь, и не грех иногда спросить самого себя: а куда я ползу, и выпускаю ли я иголки, и какая в данный момент у меня «мордочка», и почему я на кого-то шиплю, и уморительно ли это для окружающих?..

Как трудно идти за Христом и как... легко! Трудно жить по заповедям, и легко, когда живешь так, как предлагает Христос. Живешь по Христу — и сразу становится легче, как ноша какая-то с плеч упала. «Иго Мое благо и бремя Мое легко есть». Сила в нашей христианской немощи такая же, как и сила в послушании. Где Христос, там и сила Его. Человеку, не ведающему Христа, она может показаться бессилием. Разве силой победил Христос мир? Даже Константин Великий поверил, что «Сим победиши» — крестом, а не оружием и не полководческим талантом.

Я в жизни много раз одерживал победу не умением, не силой, не хитростью, а просто надеждой на Бога. И Господь не посрамляет. Христос умер на Кресте. По-человечески — сдался, не одержал победу. Умер. Но, смерть, где твоя победа? Смерть обернулась торжествующим Воскресением! Такова сила нашего христианства. Нет ничего, что могло бы противостоять Христу. И если мы принимаем христианское «бессилие», мы побеждаем. Человек, который думает, что он одержал победу своими силами, на самом деле побежден. «Сила Моя в немощи совершается». Давайте попробуем, может, что-то и получится, и себя спасем, и тех, кто на нас восстает, а иначе погибнем...

Трудно пойти за Христом. Но если пошел, то идти легко.

Если мы в этой жизни перенесли оскорбления, несправедливости, страдания, мы имеем власть прощать. Как и Господь простил, умирая на Кресте: «Прости им, Отче, они не ведают, что творят». Так молилась преподобномученица Елизавета Федоровна. Так можем молиться и мы, если только сумеем так молиться. И люди, сделавшие нам зло, будут прощены по слову Спасителя, произнесенному на Кресте. Мы имеем власть

прощать, разрешать, и вязать, то есть не прощать. Эта власть нам всем дана! Да и как не простить, когда Сам Господь простил Своих распинателей. Если не простим, значит, любви не имеем, любви Христовой, которой Он всех простил.

Есть учение Григория Нисского о всеобщем спасении. Господь не может сказать злу: войди в рай. Человек, сотворивший злое, должен перемениться, чтобы войти в Царствие Божие. Если ему чуждо Царствие Божие, он окажется в аду, а вот если мы простим друг друга, Царствие Божие откроется тогда для всех, ведь Бог есть любовь.

Сейчас модно стало обвинять священников в ереси. Среди обвиняемых оказались и отец Александр Мень, и отец Александр Борисов, и отец Георгий Чистяков, и отец Георгий Кочетков, и даже владыка Антоний (Блум). В их книгах находят еретические мысли и тычут в это пальцем. Но, во-первых, существует частное богословское мнение или, как его называют, теологумен. Апостол Павел говорит: «Разномыслиям надлежит быть...» Во-вторых, нельзя забывать, что за этими пастырями стоят сотни, если не тысячи людей, которые пришли в Церковь благодаря их трудам, и эти новообращенные в большинстве своем не заглядывают в богословские глубины. Для них самое главное — Христос и то, что они Его обрели. Разве можно с такой злобой называть этих пастырей еретиками, причем делать это до соборных постановлений нашей Церкви?! Я верю, что Церковь в лице архипастырей не навесит на них страшного слова «еретик».

Мученическая кончина отец Александра Меня говорит нам, что он пострадал за свое миссионерство среди неверующего народа, оболваненного коммунистами. Пусть будет меньше зла и больше любви! И тогда в Церковь потянутся те, которых мы своими междоусобными распрями отталкиваем. Помоги нам Господь!

*Расскажу, как текла былая
Наша жизнь, что былой не была.
Голова ты моя удалая,
До чего ты меня довела.*

Рассказывать о своей жизни очень трудно. Поначалу кажется, что легко, а станешь рассказывать... За что-то очень стыдно, чего-то жалко, а о чем-то лучше вообще не вспоминать. Хочешь людям поведать, как жил, а вспоминаешь, сколько людей мимо тебя прошло и какие у них друг на друга обиды... Об одних ошибках целую книгу можно написать — «Жизненные ошибки отца Вячеслава». Читать надоест.

Наверное, на роду мне было написано стать священником. А что было до этого — все мне мешало, тормозило, отдаляло, вертело, крутило, а я падал, вставал, полз, отступал, а затем опять шел вперед. Недостойнство всей жизни не дает мне покоя.

Как хорошо служить, молиться, говорить людям о Христе, но достоин ли? А служить так легко и радостно! Господь, Божия Матерь, святые, кругом столько ангелов, и все мы поем и славим Бога. Еду на службу, вспоминаю себя, какой я, трясусь весь — ведь у Престола стоять — да думаю: не один я. Господь рядом, ангелы помогут. И так каждую службу. Храмы Божии зовут нас — и священников и мирян. Открыты они день и ночь. Ночью туда можно ворваться душой. Стать на колени и молиться, и никто не помешает. Стоит только захотеть, и в любой час ты окажешься в храме, и для тебя

одного будет совершаться служба, только вознесись всем своим существом в дом Божий, и услышишь неизреченные глаголы. Господь всегда ждет. Ангелы поют и созывают всех в рай. «Гляну в поле, гляну в небо — и в полях, и в небе рай», и в сердцах, и в наших жилищах, и везде!

*

*Когда мы радости не чаем,
В слепую скорбь погружены,
То тихий взор Ее встречаем
И слышим голос: «Спасены».
(...)
И все обыденное тайно
Необычайным предстает,
Все светит радостью нечаянной
И белой яблонькой цветет.*

Я сроднился с этими строками. Как только вспомнишь их, сразу светло и радостно на душе. Значит, не только молитва нас преображает и дает силу, но и светлая христианская поэзия, которая скорее всего выросла из молитвы. Есть, наверное, такие периоды в жизни, когда мы живем без радости, а взглянешь на любимую икону и радуешься, ведь она на всех нас взирает с любовью. Поэт, который написал эти строки, — человек удивительной судьбы. Он «сидел», в ссылке учил детей, наверное, преподавал им литературу. А после окончания срока еще на два года остался с детьми, уже добровольно. Не мог вот так взять и бросить их. Родился он в 1893 году, а умер — в 1973-м. Перед смертью я его причащал. Звали его Александр Александрович Солодовников. Жил он на Гоголевском бульваре и оставил полные надежды строки: «Когда мы радости не чаем, в слепую скорбь погружены, то тихий взор Ее встречаем и слышим голос: «Спасены»...»

Сегодняшнее Евангелие — о любви. О любви к Богу и ближнему, то есть к каждому человеку, которого встретили на своем пути и кто нуждается в помощи. Все Евангелие пронизано жалостью Господа к людям. Христос взглянул на кого-то и сжалился над ним. Умер Его друг Лазарь, и Христос заплакал. Не хватило вина на свадьбе — и Христос принял участие. Это нам жизненный пример. Любить не всех вообще, а именно каждого человека, который сейчас перед тобой: плохо ему или хорошо — раздели с ним и печаль и радость. Только тогда учение Христа может воплотиться на земле, а мы действительно станем Его учениками. На любви к Богу и человеку должна зиждиться вся наша жизнь. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя.

В нас есть и низкое, и высокое. Вот и постарайся увидеть высокое в том ближнем, который перед тобой. А мы именно высокое часто и не замечаем. Увидели низкое и отвернулись от человека, он нам стал не нужен, нам не до него, но тем самым мы забываем Христа, Который всех жалел! Нет в нас порой простой человеческой доброты. Не ставь себя выше другого, и тогда будет и тебе хорошо, и тому, кто около тебя находится. Все христианство построено на любви к ближнему. А земной мир построен на любви к дальнему, и мы видим, что из этого получается, — распри, кровавые

революции. Обыкновенная доброта, только она спасет мир. Иисус взглянул и сжалился над ним!

Я сегодня был у моего друга Рубена в Хамовниках. Он врач-стоматолог милостью Божией, глубоко верующий и очень добрый человек. Сидим у него в коридорчике и смотрим на рыбок в аквариуме. Две рыбки светлые, а одна — темная в крапинку, довольно большая. Дружные светленькие держатся вместе, а темненькая — в сторонке. И у людей так же: одни держатся вместе, а другие — в сторонке.

Подошла девочка лет восьми с косичкой, славная такая, стала у самого стеклышка, смотрит и вдруг говорит: «Надо просверлить стеночку, и тогда они погибнут» — и стала стучать кулачком по стеклу. Рыбки заметались вверх-вниз, не знают куда им деться. Я ей говорю: «Зачем же ты их пугаешь? А если тебя напугать?» — «Я ничего не боюсь», — отвечает. Я ей говорю: «Надо любить все живое. Что они тебе плохого сделали?» Постояла и отошла.

Подходит к аквариуму женщина в очках, в халате, близко-близко прислонила свое лицо к рыбкам: «Милые, здравствуйте, как вы там?» Все три рыбки подплыли к ней, открывают ротик и разговаривают с ней, а она их целует. Все мы Божьи твари, и все на любовь откликаемся, а когда нас пугают — убегаем.

Когда болею — ничего не помню, а отступает боль — наваливается одиночество. Боль все заглушает, все отступает на задний план, и остаешься наедине с ней. Это тоже своего рода отдушина, хоть и очень тяжелая, и что легче, боль или одиночество, — трудно понять. Все нужно человеку: и страдания и радость, все нужно принимать.

На земле Господь дал нам жизнь молниеносную: мелькнули мы, как искорки, и исчезли, чуть-чуть посветили — и ушли. Неудержимо, неповторимо все пролетело мимо. Каждая жизнь неповторима.

Если бы мы не грешили, тогда и умирать не надо было бы — вечность была бы на этой земле. Это грехи привели нас к смерти; мы мечемся здесь, как угорелые, не даем себе покоя, бестолково живем, а батюшка должен выправлять эту жизнь, даже если собственная не выправлена. Таков батюшкин удел. Говоришь что-то Божие стоящему перед тобой человеку, он слушает, а сам думаешь: если свою жизнь не выправил, то, может, твои ошибки другому помогут, ведь на ошибках учатся. И так хочется, чтобы этих ошибок у другого было меньше, а радости — больше.

«Гололед, гололед...» Снег в Москве сошел, в центре ни снежинки. Я часто хожу чертановским лесом в Ясенево, в лесу дорожки ледяные, идти по ним невозможно. Лавируешь между деревьями, идешь дольше обычного. К сердцу каждого человека тоже дорожки ведут, по которым порой бывает невозможно пройти — гололед, можно только в обход, только обходными путями. Если прямо пойдешь — упадешь.

Духов день, дождь целый день. Зашел в храм. Опять обратил внимание на то, что люди молятся, не понимая того, что совершается в храме. Во время «Тебе поем» архиерей и священники опускаются на колени — произошло пресуществление Святых Даров, и теперь на Престоле не просто хлеб и вино, а Тело и Кровь Христовы. А люди в это время ходят, зажигают свечи и даже выходят из храма.

Может, нужно проводить меньше служб, а больше занятий и бесед с людьми? Народ в большинстве своем не понимает, почему во время службы архиерей или священник руки воздевает, что произносит, о чем молится и что происходит на Престоле.

Во время литургии Преждеосвященных Даров Святые Дары переносятся с жертвенника на Престол, и, когда они выносятся из алтаря, приходится дьяконам напоминать народу: «Все встаньте на колени», — потому что на колени почти никто не становится. Совершенно по-другому ведут себя прихожане в храме Космы и Дамиана у отца Александра Борисова, и «кочетковцы», когда посещали наш храм, все падали ниц. Эти батюшки воспитывают просвещенных христиан, а невежественные люди их ругают.

Сегодня ездил в Хамовники помолиться за Машу, мою духовную дочку, ей предстоят трудные дни. Стою и молюсь перед Споручницей: «Божия Матерь, помилуй Машеньку, Божия Матерь, помилуй Машеньку...» Приклонил голову, облокотился на перила лесенки, ведущей к иконе, никого не вижу и не слышу, а в это время идет венчание. Вдруг, будто в ответ на мою молитву, раздается: «Исайя, ликуй...» И полилась у меня благодарная молитва: «Божия Матерь, благодарю, что Ты услышала».

У своего старого дома я пропел акафист Споручнице, взор мой был обращен на храм. Так я и стоял между домом и храмом — Божий дом и мой дом. То на храм посмотрю, то на дом, и мысленным своим взором проникаю в наш подвал. Удивительное чувство: и в храм взором своим проникаешь, и Сама икона перед тобой — Сама Споручница, и подвал, мама, бабушка, и папа, и Тамара, как будто мы все вместе поем и славим Споручницу, молимся за Машу. Храм всю местность освящает, и набережную, и улицы, и все переулочки. Надо чаще сюда приезжать, черпать благодать пригоршнями, как воду, и умываться. Храм и молитва, которая в нем творится, освежают человека. Уходишь, словно искупавшийся в родниковой воде. Хамовники родные и очень теплые, как Теплый переулок, получивший тепло от храма. «Исайя, ликуй», и пусть душа ликует. С Машей все будет хорошо, Божия Матерь так сказала. Вознесем к Ней свои молитвы и не будем посрамлены.

Радуйся грешных Споручница, всегда о нас руце свои в поручение Богу приносящая!

Подошел сегодня к Споручнице приложиться, поцеловал икону, поднял глаза на Ее лик, и замер: на меня смотрела... живая Божия Матерь. Такого со мной раньше никогда не было. Отошел, а через некоторое время опять приблизился, и опять все повторилось. Божия Матерь передо мной была живая.

Как хорошо, когда кто-то через тебя, грешного, получает помощь от Бога. Разрешение всех наших вопросов через Господа — самый верный путь в жизни, а без Него можно совсем запутаться. Мне всех жалко, и каждого человека в отдельности — все Божие творение. Видно, таков путь священника: всех любить, всех жалеть и для всех просить помощи у Господа.

*За Отрока — за Голубя — за Сына,
За царевича младого Алексия
Помолись, церковная Россия!*

<...>

*Грех отцовский не карай на сыне.
Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка — Алексия!*
Марина Цветаева.

Чувствовала Марина, что произойдет что-то страшное, и трепетала ее душа. Не стала Россия молиться за царевича Алексия, предала его на смерть, а он смертью смерть поправ, и мы ему теперь молимся. Воскрес он в наших сердцах, стал для России Царственным мучеником и страстотерпцем царскосельский ягненок — Алексей.

Когда-то царь с царицей, приезжая в Москву, шли к Иверской «в Часовню звездную — приют от зол, // Где вытертый — от поцелуев — пол».

Читаю книгу архимандрита Тихона (Агрикова) «У Троицы окрыленные». Он преподавал нам в Семинарии Священную историю Ветхого Завета. Святой человек не от мира сего. Себя рядом с ним даже поставить невозможно. Он был молитвенником, а молитва делает человека другим. Читаю его — и стыдно становится за мою жизнь, за мое служение. Одна Семинария — и такие мы разные. Один вознесся на духовную чистоту и высоту, а другой... да и слов-то не подберешь, видя свое непотребство. Смешно бывает, когда мне кто-нибудь говорит на исповеди: «Батюшка, да разве можно меня с Вами сравнивать!» Я отвечаю: «Это мне нужно с Вами сравняться». А отца Тихона и при жизни святым считали. Он тихостью и ласковостью ото всех отличался. Остается Бога благодарить, что встречались на моем пути такие люди.

Мне понравилось, как он пишет о той жизни, которая нас ждет в Царствии Небесном. Протодиакон или иеродиакон, пишет он, служат на небесах, как и на земле служили. Я похожим образом вижу Царствие Небесное: мама так и ходит там на службы и поет свои акафисты, а Тамара продает детям штанишки и платица. Каждому свое. А я служить буду, если в котел кипящий не посадят.

В Хамовниках произошло чудо. С иконы преподобного Серафима Саровского, сняли стекло и увидели, что на нем отпечатался образ Преподобного. Спрашиваю у настоятеля: «Отец Димитрий, нельзя ли поклониться запечатленному изображению?» Отец Димитрий взял с подоконника стекло: на стекле запечатлен преподобный Серафим в рост, видны воловики, епитрахиль, и внизу у ног изображение храма.

Объяснение может быть разное, но ведь и с других икон снимали стекла, но ничего не обнаружили. Я сначала подумал, много лет стекло не снимали. Оказалось, что в прошлом году стекло мыли и ничего не было. Думаю, что это — чудо. Столько молитв шло к Преподобному, от них и спроецировалось на стекло его изображение.

Страшная весть о заложниках на Дубровке. Еду в четверг 24 октября на службу и думаю о том, как помолиться о захваченных людях, что сказать народу. Сердце болит и разрывается о тех несчастных, кто оказался в концертном зале. Там оказаться мог каждый из нас. В молитвослове открылась молитва к Царственным мученикам. Не их ли попросить о помощи, особенно о спасении детей? Ведь они и их дети, княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей, тоже были заложникам в той страшной екатеринбургской тюрьме.

Перед службой ко мне подбежала Мария, русская женщина из Парижа: «Отец Вячеслав, моя дочка была там, но сумела выбраться с двумя детьми и даже вынесла на руках еще одну девочку. Можно отслужить благодарственный молебен?» Смотрю: в конце службы стоит Мария, а рядом с ней ее дочь Екатерина с детьми, Дмитрием и Эмилией. Глаза у детей испуганные. Маленькую девочку, которую она вынесла на руках, звали... Тамарой. Имя пронзило меня, что-то родное коснулось сердца.

На коленочках мы отслужили молебен, поблагодарили Господа за спасенных и помолились об избавлении заложников.

Через два дня, в воскресенье, я вновь увидел их в храме: детишки причащались, улыбались и были спокойными. Я обратился к народу и рассказал о чудесном спасении Кати, Димы и Эмили. А на следующей неделе пришла Мария и передала мне деньги, пятьдесят и восемьдесят рублей, детские сбережения Димы и Эмили, которые они просили передать в Церковь для нуждающихся в благодарность Господу за спасение от террористов. Божьи дети.

Не оставляет нас Господь ни в радости ни в горе. Он всегда рядом, и нужно только увидеть Его и попросить о помощи. Как Петр взмолился к Спасителю во время бури на море. Где буря, где опасность, там Господь. Он рядом, только позови...

Рассказ участника Чеченской войны: «Наш полковник листочки из Евангелия употреблял на низкие цели. Нашли его в туалете мертвым». Бывает, что Господь явно наказывает человека на земле.

Одна женщина на исповеди каялась: «Батюшка, всю жизнь мучаюсь. Мне было двадцать лет, цыпленочка нечаянно задавила, жить не могу спокойно. Меня всю жизнь это преследует. Не каялась в этом, боялась — батюшка засмеет. «Я поблагодарил ее за исповедь и напомнил ей о мальчике в романе Достоевского, который у всех прощения просил: у птичек, у букашек, у листиков. Какие чудесные бывают исповеди! Слушаешь и завидуешь человеку.

Хорошо было сегодня в храме в Великий четверг. Слушал Евангелие, и думал: не я ли предаю, не я ли отрекаюсь, не я ли?.. А потом все причащались — и стар и млад — все были на Тайной вечере. Вся вселенная на Тайной вечере! Никого Господь не отринул.

Господь Своими чудесами нас призывает: стекло с изображением преподобного Серафима посылает, и чувство покаяния за цыпленочка, и полковника наказывает, а мы все равно грешим. Неужели в нас грех неистребим? Все видим и ничему не верим. «Господи, веруем, помоги нашему неверию», — с этим и спать надо ложиться, и вставать, и по земле ходить.

Служил я вчера с владыкой Нифоном, как обычно произносил возглас: «Помяни, Господи, и господина нашего преосвященнейшего Нифона, епископа Филиппопольского, его же даруй Святей Твоей Церкви в мире, цела, честна, здрава, долгоденствующа, права правяща, Слово Твоея Истина». Чудесные слова и пожелания. Я подношу ему крест для целования, а он меня за руку взял и держит: «Отец Вячеслав, этим живу, дышу и существую». Много чудесного во время литургии происходит, служба держится Божией любовью, молитвой друг за друга, благодаря которой открывается в нас то, что было до поры до времени сокрыто. Возлюбим друг друга, да единомыслии исповемы...

ЩИ ДА КАША — ПИЩА НАША

Я очень люблю готовить. Сегодня варил кашу и подумал: «Если собрать все мои кулинарные рецепты, получится «Поваренная книга отца Вячеслава», недаром папа мечтал, чтобы я стал поваром. А на обложке моя фотография в колпаке и с половником». Книга не книга, а несколькими рецептами я с вами поделюсь.

Начнем с самого простого — с каши. Главное в каше, геркулесовой или манной — это молоко. Оно должно быть настоящее, желательно деревенское, но ни в коем случае не порошковое. А еще лучше сливки. Берем пол-литра сливок и столько же воды, выливаем в кастрюльку. Если есть коровье молоко, то литр молока без воды. Кипятим, в кипящее молоко — стакан геркулеса и стоим помешиваем. Как только начнет густеть, добавляем две-три столовые ложки сахара и чайную ложку соли и ждем, пока пузырьки не появятся. Появились? Каша готова. Манную варим так же, только стаканчик всыпаем неполный. И когда засыпаешь манку в кипящее молоко, непрерывно помешиваешь и засыпаешь частями, чтобы не было комков. Вот и вся премудрость.

С гречневой кашей придется повозиться подольше. Гречку перебрать: камушки и черные зернышки — долой. Затем ставим чугунную сковородку на кружок и на маленький огонь. Прокаливаем крупу, чтобы дух гречневый пошел, помешиваем, чтобы не пригорела. Она должна стать золотистой. А сами пока ставим кастрюльку с водой на огонь. Как только вода закипит, берем гречку и осторожно ссыпаем ее, милую, в кипящую воду. Примерно на один литр воды два стакана гречки. Крышкой прикрой, но оставь щелочку, чтобы вода выкипала. Кладем пол-ложки соли, а как только вода выкипит, открой крышку и положи в кашу граммов пятьдесят сливочного масла. Зажигай духовку на самый маленький огонь и ставь туда свою кашу, плотно закрыв крышкой, на час не меньше, чтобы упрела. Теперь достаем кастрюльку, расстилаем на диване несколько газет, заворачиваем в эти газеты кастрюльку с кашей, накрываем чем-нибудь теплым — одеялом — и сверху кладем думочку, маленькую подушечку. Каша вообще любит тепло, а гречневая в особенности. Пускай еще немного подопрет. А пока накрывайте на стол, доставайте масло. Больше ничего не надо — ни хлеба, ни мяса, ни рыбы, ни овощей. А то все испортите. Теперь открываем кастрюльку... Дух от каши такой, что дух захватывает. Есть такую кашу надо молча, сосредоточенно, наслаждаясь каждой ложкой. Вот так. Ешьте мои каши и не унывайте!

Каши едят на завтрак, а мы теперь займемся обедом. Прочитал я тут как-то рассказ — воспоминание о Сергее Есенине. Так вот, за столом Есенин вспоминал, как его бабушка готовила борщ с гречневой кашей. «Кто сидел с ним за столом, удивлялся его поварскому знанию».

Что ж, в поэзии я с Есениным тягаться не могу, да и стихов вообще не пишу, но что-то, а в борщах толк знаю. Все почему-то для борща свеклу очень мелко режут или на терке строгают. А я не так. Если большая, — на четыре части, если маленькая — пополам режу. Капусту режу тоже не очень мелко, одну небольшую картошечку целиком кладу. Луковицу — тоже целиком, помидор (или, если нет, ложку томатной пасты), лавровый листик в конце. Ну, разумеется, мясо — грудинку или филейный край. Из него потом можно фарш для блинчиков или кабачков сделать. Про соль и перец не говорю — и так понятно.

Самое главное, когда борщ подаешь, в тарелку кусочек свеклы положить целиком и ножиком его порезать. Свекла тогда гораздо ароматнее получится. Только свеклу надо уметь выбирать. Покупайте только темно-красную, приплюснутую. Можно, конечно, и зелень добавить. И сметану, но вкус уже будет не тот. А впрочем, кому как нравится.

Первое сварили, а на второе у нас будут котлеты с кабачками. Начнем с кабачков. Моем, чистим, режем кружочками. Муку смешиваем с солью. Обваливаем кабачки в муке и — на сковородку. Обжариваем в постном масле с двух сторон, а потом режем помидоры и на той же сковородке обжариваем. Перемешиваем помидоры с кабачками — гарнир к котлетам готов.

Теперь дело за самими котлетами. Белый хлеб вымачиваем в молочке, добавляем луковицу и проворачиваем вместе с мясом два раза через мясорубку. Фарш солим, перчим и жарим непременно на черной чугунной сковородке под крышкой.

Кабачки еще можно нафаршировать. Для этого разрезаем на ровные, большие дольки. Отвариваем рис. Проворачиваем вареное мясо из борща или щей. Добавляем в фарш обжаренный лук, смешиваем с рисом и каждую дольку набиваем этой смесью поплотней. Обваливаем в муке, обжариваем на сковородке, а потом тушим в кастрюльке на медленном огне в бульоне от щей или борща. А под конец кладем сметану. Вот и вся премудрость. Обед готов.

Стал рассказывать про обед и вспомнил, как у Тамары в доме печенку готовили. Ее мама и меня научила, а я теперь вас научу.

Берем печенку граммов так на семьсот-восемьсот. Вначале снимаем пленку, моем холодной водой. Режем на аккуратные кусочки, но не очень маленькие. Ставим на плиту черную чугунную сковородку. Под нее — кружок. Кладем сливочное масло. Солим печенку и обваливаем в муке. Как только масло зашипит, бросаем печенку на сковородку. Чуть подрумянилась — перевернули, подрумянилась с другой стороны — перекладываем ее в невысокую эмалированную кастрюлю вместе с маслом, заливаем бульоном и томим. Затем на маленькой сковородке поджариваем две столовые ложки муки на сливочном масле и — туда же, в кастрюлю. Прикрываем крышкой. Так чтобы печенка «дышала». Где-нибудь через полчаса кладем туда же три-четыре ложки сметаны. И пусть опять стоит томится. В самом конце досыпаем ложки три сахарного песка. Конечно, лучше, чтобы печенка была свежая, а не мороженная. Говяжья или телячья, но не свиная. Та поглубей и не такая вкусная. Печенку хорошо с гречневой кашей есть. А можно и с картофельным пюре.

Полез я сегодня в кухонный стол, а там толкушка, скалка, веселка... И вспомнил я, как толкушкой мяли картошку, и она становилась мягкая, душистая. Добавляли в нее яичко, молоко, немножко сливочного масла, соли. Пальчики оближешь, какое получалось пюре.

Все знают, что скалкой раскатывают тесто, но вряд ли многие сейчас помнят, как делать домашнюю лапшу. А мы этой скалкой раскатывали тесто для лапши. Тесто простое — стакан муки, немножко воды и одно яйцо. Месишь, пока колобок не станет плотным. А затем кладешь на деревянную доску и раскатываешь, чтобы получился круг во всю доску. Потом присыпаешь мукой. Сворачиваешь круг трубочкой и начинаешь резать длинным острым ножом полоски потоньше или потолще, кому как больше нравится. Оставляешь лапшу на доске. Чтобы подсохла, а затем складываешь в бумажный пакет или стеклянную банку. А там уже дело за курицей или сушеными белыми грибами. Попробуйте — за уши не оттянешь.

Веселкой мы тесто размешивали — на блины или на пироги. Но, честно говоря, тесто для пирогов лучше всего месить рукой, разумеется, хорошо вымытой.

Мои любимые пироги были с капустой. Выбрать правильный кочан — это ведь целое дело. Он должен быть большой и белый, приплюснутый и хрустящий. Я сам всегда выбирал. Мыл, брал сечку (она у меня до сих пор на лоджии хранится) и рубил капусту в деревянном корытце — его Тамарин папа сам смастерил. Потом обдавали капусту кипятком и вываливали в дуршлаг под холодную воду. А я двумя руками отжимал ее до боли в пальцах. «Если плохо будет отжата, — говорила Тамарина мама, — пироги хорошие не получатся». В капусту потом подмешивали вареные яички, и начинка получалась вкусная, ароматная.

С начинкой разобрались, теперь дело за тестом. Сначала надо помолиться, а то ничего не получится. Вообще, когда готовишь, надо как можно больше молиться. Тогда все получается как надо, а когда люди готовят в плохом настроении, думают неизвестно о чем, еда получается невкусная, пироги не поднимаются, блины пригорают, суп убегает, и настроение портится еще больше.

Помолились. Теперь берем пятьдесят граммов дрожжей, разводим их в половине стакана теплого молока, добавляем ложку сахара и мешаем, пока дрожжи не зашипят и не поднимутся шапочкой. Берем пол-литра молока, добавляем сахар, одну ложку соли, взбиваем четыре яйца, сто граммов растопленного масла, размешиваем, потом вливаем разведенные дрожжи. И вот только теперь осторожно всыпаем килограмм муки. Теперь надо очень хорошо вымесить тесто. Можно веселкой, но я всегда это делал рукой. Ставишь кастрюлю на колени и месишь, пока тесто не перестанет прилипать к руке. Добавляем немножко подсолнечного масла и ставим в теплое место. Можно и укутать теплей, чтобы скорее подошло.

Раскатывали и пекли мы, я думаю, так же, как и все. Это можно в любой поваренной книге прочесть. Но вот когда готовые пироги из духовки вынимали, то брали перышко и смазывали пироги маслом, чтобы они были мягкие и красивые.

Блины меня тоже учили ставить и печь Тамара с ее мамой. Тесто замешиваешь так же, как на пироги, только не такое крутое. Ну и мешаешь, конечно же, веселкой. Поставил, подошли, а ты их опустил. И так три раза.

Потом доливаешь горячее молоко и постное масло. И не жалеете сахара. Блины должны быть кисло-сладкие. Прежде чем печь блины, надо очень хорошо разогреть сковородку. Мы всегда смазывали сковородку половинкой луковицы. Макали ее в постное масло и смазывали. Когда начинаешь печь, тесто на сковородке все в пузырьках, а блины получаются пухлые, румяные.

Блинами хорошо поминать. Как-то тепло становится. Тамара всегда пекла блины в дни памяти. А моя мама, бывало, когда я был маленький, со мной в такую игру играла: «Давай, — говорит, — я буду петь «блин... блин... блин...блин», крестная пускай подпевает «полблина... полблина», а ты — «четверть блина...ч етверть блина», и получится трезвон...

Попробуйте в своей семье, особенно если семья большая, такой трезвон пойдет — соседи сбегутся. Тут-то вы их блинами и угостите.

ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ, ЕСЕНИНСКАЯ ГРУСТЬ

Лес у Есенина — кладезь духовной премудрости, вновь и вновь возвращаюсь к нему. Ели — крылья херувимские, березы — большие свечки, поля — святцы. «Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в сорока. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье дает», — вспоминал Есенин. Что же видел он в рязанских раздольях, что было открыто его духовному зрению?

*Снова выплыл из рощи
Синим лебедем мрак,
Чудотворные мощи
Он принес на крылах.
В холмах услышал славословие Богу:
Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.*

Даже осока, о которую мы боимся порезать пальцы, причастна к молитве:

*И часто я в вечерней мгле
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.
Что же говорить о цветах:
На резных окошках ленты да кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы.
И о деревьях, перебирающих в молитве четки:
Наклонивши лик свой кроткий,
Дремлет ряд плакучих ив.
И, как шелковые четки,
Веток бисерный извив.*

Заря источает молитву:

*О верю, верю, счастье есть!
Еще и солнце не погасло.
Заря молитвенником красным
Пророчит благостную весть,
О верю, верю, счастье есть.*

Поля предстают святцами, а рощи обрамляют иконные венчики:

*Край родной! Поля как святцы,
Рощи в венчиках иконных.*

Не только в храме, но и в небе при раскатах грома мы видим лампаду:

*Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес,
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.*

И не только священное лицо бывает в рясе:

*Стелется синею рясой
С поля ночной холодок...
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек!*

А ризой может быть и простая солома:

*Над соломой ризою
Выструги стропил.
Ветер плесень сизую
Солнцем окропил.*

И звезды в небе горят, как свечи:

*Я по первому снегу бреду.
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.*

Или:

*Серебристая дорога,
Ты зовешь меня куда?
Свечкой чисточетверговой
Над тобой горит звезда.*

Солнечный луч простирается от Бога к человеку:

*За оградой монастырской кроюсь,
Я вошел однажды в белый храм:
Синею водою, солнце, моясь,
Свой орарь мне кинуло к ногам.*

Само небо — плат, подобный простертому над нами омофору Богородицы:

*Топи да болото,
Синий плат небес,
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.*

И везде и во всем — молитва:

*Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,
Пройдет проселочной дорогой,
Молясь на копны и стога.*

Через вечернюю зорьку в наше сердце входит Божественная вечерня:

*Таёт, как радуга, зорька вечерняя,
С тихою радостью в сердце вечерня.
И птицы присоединяются к службе:
Здравствуй, золотое затишье,
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде.*

И из вечерни на душу просится молитва:

*Свете Тихий святыя славы, Бессмертного Отца Небесного,
Святого Блаженного Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца,
видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Бога.
Достоин еси во все времена петь быти гласы преподобными, Сыне
Божий, живот давая, темже мир Тя славит.*

*Запах ладана от рощи ели льют,
Звонки ветры панихидную поют.*

Когда я бываю в Архангельском, то собираю с елей и сосен «ладан» — кусочки смолы, отковыриваю их ножичком и кладу в целлофановый пакет. Душистые, смоляные, одни посветлее — это от сосны, потемнее — от ели. Есть и просто смоляные застывшие потоки. С одного дерева можно набрать полпакета. Дома я служу панихиду и, когда пою «Со святыми упокой» или «Вечную память», кладу кусочки ладана в кадило — и в дом ко мне приходит Архангельское: лес, поляны и рощи. Я делаю это в память о Тамаре и маме, в память их любви к Архангельскому. Так кадильный аромат сосен и елей присутствует на моей панихиде. И когда я сегодня встретил эти есенинские строчки, я удивился и подумал: «Это про меня он писал». Ну, кто еще собирает с деревьев такой ладан? Кому в голову придет? Сейчас ладана полно, везде продают. У Есенина «звонки ветры панихидную поют», а я в лесу тоже пою панихиду, а звонки ветры мне подпевают... и без кадила запах ладана разливается по полям.

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих». Вечная память всем ушедшим и автору замечательнейших строк, которому «звонки ветры панихидную поют»!

Любовь к Есенину привила мне мама, она рассказывала, что читала его стихи в молодости, а потом их запретили. Томик есенинских стихов 1926 года издания я впервые увидел примерно в 1953 году у школьного товарища по парте, выпросил у него и на уроках в тетрадь переписывал есенинские стихи. Принес тетрадь домой и стал читать маме, а она все охала да ахала. Он меня глубоко затронул, всю душу всколыхнул до дна. Я читал и перечитывал, пел стихи и декламировал, мне казалось, что Есенин — это я, а я — это Есенин. С тех пор я хочу за его Божии стихи снять с него вину за «Инонию» и прочее. Есенин стал мне близким родным человеком, а если близкие люди согрешили, то хочется их как-то оправдать. Его окружение, «Стойло Пегаса» и пьянки, антирелигиозная война, затеянная противниками Христа, конечно, делали свое дело. Сатана, противник Христа, действовал через них, и в его мясорубку попало много людей. Но чего больше на весах есенинского творчества: радости, света Христова или страшной темноты без Бога и без Креста? Я ясно вижу, что больше света, а Свет всегда побеждает тьму. По крайней мере, в моем сердце победа в стихах Есенина одержана светом. Христос одержал победу. Конечно, это Божье дело решать о венце жизни человеческой, но ведь и мы можем друг за друга заступиться. Господи, прости, не со зла он отступал от Тебя, по неразумию.

Мы часто говорим: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Так не будем вспоминать темное и плохое у Есенина. Он же писал: «Всю душу выплеснул в стихи», а мы отвернемся от его души, скажем: «Нет тебя, не нужен ты нам...»? А он, может, ночами плакал о своем отступлении, иначе откуда же тогда пришла его просьба: «Положите меня в русской рубашке под иконами умирать»? И это после всех его богоборческих стихов. Бравада первых революционных лет не затронула глубины его души, все это было внешней игрой для окружающих, в основном поэтов его круга. «И пускай я в Бога не верую... Я молюсь Ему по ночам!» Даже когда кричал, что не веровал, в глубине душевной все равно веровал. Ночная молитва, глубокая вера были в нем неистребимы... остальное все наносное.

Как-то Дункан в разговоре с Есениным изрекла: «А большевики правы — нет Бога. Старо. Глупо...» Есенин усмехнулся и сказал с иронией, как будто разговаривал с ребенком, который старается казаться взрослым и умным: «Эх, Айседора! Ведь все от Бога. Поэзия и даже твои танцы...»

В сердце своем он как был православным человеком, так им и остался. Я это чувствую...

Некоторым не дает покоя «Инония» Есенина. Свидетельство Вяч. Полонского: «С обезумевшим взглядом, с разметающимся золотом волос, широко взмахивая руками, в беспамятстве восторга декламировал он «Инонию».

В. Скисовский видел в «Инонии» «дикое, чисто русское “богоборчество”, сущность которого так тонко понял Достоевский». Эти наблюдения перекликаются с воспоминаниями самого Есенина: «Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня были резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до богохульства (между прочим, на исповеди люди часто в этом

каются — В. В.), потом и в творчестве моем были такие полосы: сравните настроение первой книги хотя бы с «Преображением».

«Музой Есенина была совесть. Она и замучила его», — считает Н. Оцуп, объясняя позднейшее разочарование поэта в граде Инонии. «Человеческая душа, — писал Есенин, — слишком сложна для того, чтобы заковать ее в определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии или сонаты».

Есенин очень страдал от неустроенности, оттого, что не сопротивлялся плохому, приходящему из чужой ему жизни, и скандалил для того, чтобы ярче гореть, а потом понял, что не нужно было это делать... и раскаялся. Его сестра Екатерина рассказывает: «Когда я вошла к Сергею, он лежал с закрытыми глазами и, не открывая глаз, спросил: «Кто?» Я ответила и тихо села на маленькую скамеечку у его ног. «Екатерина, ты веришь в Бога?» — спросил Сергей. «Верю», — ответила я. Сергей метался в кровати, стонал и вдруг сел, отбросил одеяло. Перед кроватью висело Распятие. Подняв руки, Сергей стал молиться: «Господи, Ты видишь, как я страдаю, как тяжело мне...»

*Дай ты мне зарю на дровни,
Ветку вербы на узду,
Может быть, к вратам Господним
Сам себя я приведу...*

В книге священника Михаила Ходанова «Спасите наши души!», написанной о Высоцком, Окуджаве, Галиче, Талькове и других поэтах, я нашел замечательные строки о Есенине: «Испытывая на себе силу его творчества, его искренность и боль — мы его любим, жалеем и прощаем, потому что он — плоть от плоти нашей, и мы, грешащие и кающиеся, сами такие же немощные и страстные, прекрасно понимаем все причины его боли и срывов. Мы не помним его грехов, потому что он страдал и дал нам взамен свое израненное сердце и великие, вечные по красоте и силе чувств стихи».

Несколько человек пытались противопоставить моему пониманию Есенина то темное, что было в поэте... Я верю, что если искренне любишь, то не можешь ошибаться в человеке, каким бы грешником он ни был. Бог даст увидеть в этом человеке светлое... Почитайте Есенина, и вас пронзит его боль, эта боль станет вашей... и вы его не осудите. Его грехи — это и наши грехи. Мы их вслух не высказываем, у нас нет его открытости, его искренности, мы очень боимся людского суда, а он всего себя выворачивает наизнанку.

Мне как-то позвонила прихожанка, чья дочка писала реферат о Есенине. Позвонила полная сомнений о духовной сути поэта. Я не хотел слышать об «Инонии», но говорившая со мной не вняла этому и произнесла богохульные строки из поэмы. Что можно на это сказать? Прочитать ей «Шел Господь пытаться людей в любви», «Помолись пред моим Спасителем за погибшую душу мою», «Схимник-ветер шагом осторожным», «И целует на рябиновом кусту// Язвы красные незримому Христу», «Как хорошо, что я сберег те ощущения детских лет, божницу старую, лампы, кроткий свет» и многое другое? Что сказать этой девочке, пишущей реферат, и ее маме? Книга моя была у них под рукой, можно было сослаться на нее и написать, вот такой-то священник пишет о Есенине так, и привести цитаты, а затем уточнить, согласна она с таким пониманием Есенина или нет. Я только сказал звонившей:

— Ты внимательно читала мою книгу, вступительную статью, главу о поэзии Есенина? Там же дан ответ на твой вопрос.

— Да, читала.

Наверное, не очень внимательно. Перед нами святость и грех, свет и тьма. От нас зависит, что мы выберем. В Евангелии есть примеры веры и неверия, следования за Христом и предательства. Что мы выбираем? Это зависит от нас. Светлое должно побеждать. Вот светлое в Есенине и победило. Мы все падаем и встаем. Разве грехом мы не предаем Христа? А ведь от нас ни Господь, ни любящие нас на отворачиваются. Достоевский, будучи на каторге, даже в потерявших облик человеческий находил и видел образ Божий. Почему же мы должны отвернуться от впавшего в грех поэта?

«Кому повем печаль мою...». Действительно, кому? У каждого своя печаль. «Кая житейская сладость печали не бывает причастна?..» Попробуйте к печали прибавить молитву и увидите, чем обернется ваша печаль... Может, печаль для того и дана, чтобы она обернулась молитвой.

Из есенинской печали родился стих-надежда:

*Пойду в скуфье смиренным иноком
Иль белобрысым босяком —
Туда, где льется по равнинам
Березовое молоко...*

А право как хорошо, когда все это увидишь... Можно ведь представить себе Есенина... в скуфье. Было же у него такое настроение.

*Без шапки, с лыковой котомкой,
Стирая пот свой, как елей,
Бреду дубравною сторонкой
Под тихий шелест тополей.
Иду, застегнутый веревкой,
Сажусь под копны на лужок.
На мне дырявая поддевка,
А поводырь мой — подожок.
Пою я стих о светлом рае,
Довольный мыслью, что живу,
И крохи сочные бросаю
Лесным камашкам на траву.*

Кому повем печаль мою... Когда мне печально, я или молюсь... или, как сегодня, читаю что-нибудь есенинское. На душе становится светло от света Христова, которым наполнены его стихи.

*В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой*

Младой весны молодые были.

Мне становится уютней в моем уголке, так бы читал и читал... Есенинская Русь. Есенинская грусть. У меня его томик всегда под рукой. Молитва и хорошие стихи успокаивают.

*И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня.
За бесприютного в отчизне!*

Один человек назвал меня есенинским батюшкой после прочтения моей книги «Я поверил от рожденья в Богородицын Покров». Разве не чудесно? У Есенина есть еще одно замечательное стихотворение про Покров:

*Перо не больница,
Но в нем есть звон,
Кадит чернильница лесной канон.
О, Мати Вечная, Святой Покров,
Любовь заречная без слов.*

Снежный покров ложится в начале зимы на нашу землю. Покров Божией Матери покрывает всех нас. Это любимый наш осенний праздник. Так и живем мы под Покровом Божией Матери. Она покрывает нас не только в этой жизни. Ее Покров простирается и на ушедших в вечную жизнь. Божия Матерь всех обнимает Своей любовью. Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором.

*

А сегодня я шел полем снежным, и откуда-то изнутри полились есенинские строки:

*Я по первому снегу бреду...
Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.*

Как объяснить музыку стихов? Ее трудно передать словами. Эти строчки можно повторять и повторять... Они будут отдаваться в сердце, в душе: они наполнили меня, захолонули, взяли в плен. Я отдаюсь его стихам, как отдаюсь молитве.

*Может вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.*

Сколько здесь грусти, тревоги, печали. Ах, Есенин, Есенин, дивное творение Божие, как хорошо, что дар свой ты не закопал в землю, а отдал людям.

*Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я смотрю с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю...*

Вспомните слова Иоанна Златоуста: «Слава Богу за все!» Через что только не прошел Есенин, время было суровое: революция, гражданская война, расстрелы, мир будто перевернулся. Сам он многое выстрадал, но все же написал: «Эту жизнь за все благодарю». Благодарить Бога за все — это глубоко христианское настроение, в нем нет места озлобленности. На этих есенинских строчках отдыхает душа. Все нужно от Бога принимать с любовью, смирением, а силы для такого отношения к жизни нужно черпать в молитве. Как бы мы ни исказили этот мир, он все равно остается Божьим чудом. Добро и правда побеждают, а без них нас захлестнуло бы злобой и ненавистью.

*Шлет нам лучистую радость во мглу
Светлая Дева в иконном углу.*

Мгла окутала сердца и души людей, забыли они Христа, выбросили иконы, и ушла радость из их жилищ, исчезли лучики радости, которые нам посылает Светлая Дева от Святого Отца. Сейчас иконные уголки вновь возвращаются в дома, а было время, когда иконы выбрасывали на помойку. Не нужен нам оказался Господь, не нужна и Его Мать, без них проживем. И прожили: не стали нужны и собственные отцы и матери, как говорила моя мама: люди стали «непочетниками», то есть перестали почитать своих родителей. Непочитание небесных родителей переходит и на земных. Построили «Россию во мгле», но и через эту мглу пробивается лучик от Ее Пресветлого Лица.

*В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть...*

Я проходил деревней Михалково и невольно бросил взгляд на изгородь. Такого я еще никогда не видел: рябина — огромная огненно-красная шапка в глубине двора — словно полыхала костром. Я шел и повторял есенинские строки. Откуда взялась такая рябина? Кто ее посадил? Это Тамарина деревня полыхает и хочет меня согреть, да не может. Неопалимая Купина. Завтра праздник этой иконы. Горит и не сгорает наша жизнь, только переходит в другое состояние — в вечное горение... Надо поехать и еще посмотреть на ту чудо-рябину. Если она до зимы простоит горячей, то красным огнем запыхает на белом снегу. Погреться бы у рябинового огня: подойти и обнять ствол. Неужели не согреет, не утешит, если увидит слезы на глазах?! Может, вместе поплачем, вспомним кое-что из былого, что прошло и сгорело на этом рябиновом костре...

*Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды,*

*Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески — в дым.
Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек...*

Я думаю, что это есенинские мечты о Царствии Божием. Апостол Павел был восхищен на третье небо и слышал там «неизреченные слова, которых человеку не сметь пересказать». Узнаете в есенинском апостольское? Прямо слово в слово повторил поэт строки апостола Павла о Царствии Божием:

*Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек...*

Я был на Даниловском рынке и решил купить красной смородины. Мужчина с корзинкой предлагает: «Рязанская... Покупайте». Я прошел мимо, но его запомнил. Походил-походил и вернулся. «Есенинская. Только вчера вечером сорвал. Село Кузьминское, в трех верстах от Константинова». Так я купил и привез домой есенинской смородины из села Кузьминского на берегу Оки.

На рынках часто говорят: «Мы из Рязани». Но так, чтобы из есенинских мест, первый раз повезло. Солженицын писал, что те рязанские места «опалил небесный огонь», и восклицал: «Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько красоты — у печи, в хлеву, на гумне, за околицей, — красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?»

*Как бабочка — я на костер
Лечу и огненность целую...*

Мне кажется, что вся моя жизнь в этом двустии. Знаешь, что можешь обжечься, а все равно летишь и целуешь огненность, как та бабочка, что летит на огонь и, наверное, знает, что может сгореть, но все равно летит. Есенин передал знакомое мне ощущение; он сам неоднократно обжигался и все равно летел. Особенно в молодости сильна тяга к полыхающему огненностью костру, к огненному греху. Стремишься к нему, опалишь крылышки и опять летишь на эту огненность, и знаешь, что сам давно бы погиб, и только Господь хранит тебя и терпеливо ждет, что ты одумаешься.

Один из друзей Есенина вспоминал: «Впятером мы пели недавно написанное:

*Есть одна хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.*

Есенин не выдержал: уронил голову на колени Клычкова, зарыдал. Клычков ласково сказал: “Молиться надо, Сереженька, молиться; ты совсем стал безбожником”».

Да, молитва защищает нас от бесовщины и богохульства, поднимает со дна, и Есенин в это верил, когда писал своей маме:

*Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.*

Вечер обнимает меня, я хожу по комнате и читаю стихи: строчки сами несутся ко мне, я погружаюсь в их ритм, могу читать долго-долго. И постель стелю, и умываюсь, и часы завожу, а стихи не отстают от меня, я погружаюсь в них, и почти всегда это стихи Есенина. Слезы подступают, плачу и не могу не плакать.

А потом ложусь спать и читаю молитву, успокаиваюсь и засыпаю с именем Господа на устах, и стихи мне в этом не мешают, потому что они прекрасны и зовут к Богу. Вслушайтесь, это так:

*Мне теперь без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши,
Не меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.
С поля новый придет поэт,
В новом лес огласится свисте,
По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.*

Так шептать мог только Есенин.

*

«Есенин в Ермоловом переулке в ночлежке читает свой цикл стихов из «Москвы кабацкой». Одна из женщин подходит к нему и вдруг начинает рыдать. Она смотрит на него и плачет горько и безутешно. Он потрясен. Когда мы выходили в коридор, он берет меня за руку и дрожащими губами шепчет: «Боже мой! Неужели я так пишу? Ты посмотри — она плакала! Ей-Богу, плакала...» У самых входных дверей мы (вновь) встретили женщину, что плакала, слушая Есенина. Он подходит к ней и что-то говорит. Она молчит. Он говорит громче. Она не отвечает. Он кричит. Та же игра. Тогда он обращается к остальным. Остальные подходят и охотно разъясняют: “Она глухая!”» (В. Эрлих).

Я думаю, что глухую женщину поразило его чтение, он при чтении всю душу выворачивал наизнанку, не щадил себя, и она увидела, как он терзается и мучается, как ему плохо; всем сердцем это почувствовала и заплакала. Стихи из него рвались наружу, завораживали даже тех, кто его не слышал.

Есенин понял, что сделали с Россией большевики. «Пьяный Есенин чуть ли не каждую ночь кричал на весь ресторан, а то и на всю Красную площадь: «Бей

коммунистов — спасай Россию!» Всякого другого на месте Есенина, конечно бы, расстреляли, но с «первым крестьянским поэтом» озадаченные власти не знали, как поступить. Пробовали усовестить — безрезультатно. Пытались припугнуть, устроив над Есениным «общественный суд» в Доме печати, — тоже не помогло. В конце концов, как это ни странно, большевики уступили. Московской милиции было приказано: «Скандалящего Есенина отправлять в участок для вытрезвления, не давая делу дальнейшего хода». Скоро все милиционеры Москвы знали Есенина в лицо». (Р. Ивнев)

Один из современников, Андрей Соболев, пишет: «Крыть большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в советской России; всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно бы был расстрелян».

«Долго молча слушали «пролетарские» речи, и наконец попросил слово Есенин: “Здесь говорили о литературе с марксистским подходом, — начал он своим звенящим голосом, — никакой другой литературы не допускается! Это уже три года! Три года вы пишете вашу марксистскую ерунду! Три года мы молчим! Сколько же еще лет вы будете затыкать нам глотку? И на кой и кому нужен марксистский подход? Может быть, завтра же ваш Маркс сдохнет!”»(Скиталец).

Потом был «Англетер» и расправа над ним, все списали на самоубийство...

*На московских изогнутых улицах
Умереть знать судил мне Бог...*

Предчувствия его не обманули: хотя убили его в городе на Неве, но Москва стала его последним прибежищем. Москва, только Москва, могла принять его в свою землю. Убитый в Петрограде, он все равно вернулся в этот «город вязевый, пусть обрюзг он, и пусть одрях, золотая дремотная Азия опочила на куполах».

Когда я вспомнил строки про изогнутые московские улицы, я их сначала отнес к себе и только потом — к Есенину.

Моя любимая Москва: ее переулки, улицы. Неужели я не найду здесь свой последний приют... Даниловское с крестиками, прогретое теплым октябрьским солнышком... Опавшие желтые листья, дорожки, «кресты, как будто в рукопашной мертвецы, застыли с распростертыми руками». Я тихо иду от Тамариной могилки вглубь, к маме, к ее холмику и кресту со Споручницей. Это будет мой последний путь «на московских изогнутых улицах...»

*Родимая!
Ну как заснуть в метель!
В трубе так жалобно
И так протяжно стонет.
Захочешь лечь,
Но видишь не постель,
А узкий гроб
И — что тебя хоронят.*

Я не знаю почему, но ложусь в постель и говорю: «Вот мой гробик». Может, это от отшельников, которые засыпали в гробу, но то ведь отшельники. Знакомый батюшка говорил: «У меня на чердаке лежит гроб, я приготовил для себя, умру — все под рукой». Я думаю, он и облачение приготовил. У меня тоже облачение лежит, священническое, и я часто ложусь с мыслью: «А вдруг не встану?» У меня гробик — моя кровать. Кого-то могут смутить мои мысли, но ведь написано: «Помни последняя твоя, и никогда не согрешишь». У монахов в кельях я видел над кроватью изображение гроба с такой надписью. Чего же здесь страшиться? Забота, суета часто не дают подумать о самом главном. Но вот Господь оставил меня одного, и все наносное, ненужное куда-то отсеивается, а остается то, что нужно человеку для спасения и с чем он пойдет в вечность. Каждое мгновение обретает смысл и цену, и не растрачиваешь себя по пустякам, ведь говорим мы перед сном: «В руце Твои, Господи, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и живот вечный даруй мне». Говорим так, потому что можем не встать утром.

*А если я помру?
Ты слышишь, дедушка?
Помру я?
Ты сядешь или нет в вагон,
Чтобы присутствовать
На свадьбе похорон
И спеть в последнюю
Печаль мне «аллилуйя»?*

*Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать,
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать...*

И ушел.... Он тихонечко собирал свои пожитки, чтобы перейти в другой мир, где «тишь и благодать», которые коснулись его души и, видимо, не оставляли до самых последних дней. «Помолись перед ликом Спасителя за погибшую душу мою» — это его обращение не только к маме, но и ко всем нам...

КНЯГИНЯ КОЛОМЕНСКАЯ

*Я не заласкан — буря мне скрипка,
Сердце метелит твоя улыбка.*

Улыбка Тамары, единственная в мире, ни с чем не сравнимая улыбка. Если она улыбалась, то на сердце была весна. Порой я даже просил ее еще раз улыбнуться. В ее улыбке было что-то очень детское, очень милое — она была королевой улыбок, и до сего дня сердце метелит ее улыбка. Есть фотографии, где она улыбается. Наверное, улыбка — это то, что нам осталось от рая, единственное, что сохранилось на наших лицах. Мы все потеряли с грехопадением, но осталась улыбка. Это чистота райская, это Божий дар, который не исчез. Улыбнется человек, и все вокруг расцветает, улыбка открывает сердца. Как же она хорошо улыбалась, и какие у нее в это время были лучистые глаза, вся светилась, и этот свет падал на меня. Улыбнись мне, Тамара, под Новый год, одари чудесной улыбкой. лягу спать, и ты приснишься, наклонишься надо мной и улыбнешься, как раньше. Помолюсь, лягу и буду думать о твоей улыбке, пусть она мне снится весь наступающий год, пусть освещает меня и мой земной путь...

*Я не заласкан — буря мне скрипка,
Сердце метелит твоя улыбка.*

Тамара с рождения жила во 2-м Подольском переулке в двухэтажном деревянном доме на первом этаже. Тихий такой, славный переулочек, с колонкой для воды — нажмешь на ручку, и польется толстая струя. Мне нравился ее переулок и двор, где стояли сараи. У сараев тоже были палисадники, как и у дома. Дрова, погреб, во дворе развешивали белье, все друг друга знали. В доме всегда были пироги, щи, каши, блины... Сейчас я с болью вспоминаю Тамарино жилье. Дома того больше нет. Рядом с этим местом монетный двор. Думал, что мы будем жить вечно. А это «вечно» кончилось в 1995 году. Даже фотографии дома не осталось. Но помню я его хорошо. Закрою глаза, и стоит передо мною. Рядом Павловская больница, где Тамара лежала. Там же была и поликлиника. Тамара одно время работала в Даниловском универмаге, в отделе игрушек. Но это еще было до меня. Рядом был рынок, кондитерский магазин, молочная, а на Мытной — магазин, который в народе называли «Поросенок». Тамара рассказывала, что раньше в витрине стояли три поросенка, отсюда и название.

Сейчас я часто хожу по этим местам и вспоминаю: здесь Тамару встречал после работы, а здесь провожал. Полюбил я Даниловку, как и Хамовники. Название такое родное, теплое: Даниловка. Монастырь рядом. Теперь звон слышен. Летом сяду где-нибудь на лавочке и слушаю монастырский колокол — бом, бом, бом...

На углу Большой Тульской и Духовского переулка до недавнего времени стоял старинный деревянный двухэтажный дом. Он был почти копией того дома, в котором жила Тамара, а потому был мне особенно дорог. Построенный, вероятнее всего, в позапрошлом столетии, то был единственный деревянный дом, сохранившийся в Даниловском районе. Когда я проходил мимо него, то приостанавливался и каждый раз

говорил себе, что в следующий раз сфотографирую его, чтобы была память о Тамаре и ее доме. Но начали строить третье кольцо, дом окружили со всех сторон. Он вначале выстоял, потому что хозяин его, старый москвич, не хотел уезжать. Последнее время я все ходил и радовался: стоит — значит, есть еще совестливые люди в нашей мэрии. Успокоился... Но однажды увидел на месте дома что-то торчащее, черное, обглоданное, а рядом чудом сохранившуюся поленницу дров. Не стало дома — и я будто что-то потерял.

Девичья фамилия Тамары — Коломенская. Во всем ее облике было что-то величавое: в осанке, в походке, в голосе, в выражении лица, — за что сотрудницы прозвали ее княгиней Коломенской. Некоторые принимали ее величавость за гордость, что ее очень удивляло. На самом деле Тамара была очень кроткая, скромная, порой чересчур стеснительная, а величавость говорила о ее внутреннем благородстве и честности.

Она много лет проработала в ГУМе. ГУМ она любила, хотя он же доставлял ей много страданий. Вокруг было столько махинаций, столько лжи и лицемерия, что ей было нелегко противостоять этому. Но она проработала много лет и ничем себя не запятнала. Последние годы работала в детской секции и чувствовала там себя хозяйкой, хотя никогда не была заведующей. В синем халатике, в красных стоптанных узконосых туфельках, она радостно встречала детей, любила подбирать им одежду, наряжать их.

Тамара была очень привязана к своей многочисленной родне и всегда старалась чем-нибудь их порадовать. Она помнила все дни рождения, именины, звонила, приезжала, всегда ждала звонков от родных. В ГУМе она покупала обновы для двух сестер, их мужей и детей. Особенно отличала племянника Сережу, просто души в нем не чаяла. «Слава, у Сережи нет хорошего пальто. Достань с антресолей серый английский ратиновый отрез. Пойду, закажу Сереже пальто в ателье. Будет он у нас настоящий жених». Сереже она постоянно что-то покупала и давала деньги, а позднее — посылала в армию. На прощание она обязательно клала ему в руку баночку кофе или шоколадку, улыбалась и подставляла щеку для поцелуя. Он целовал, а теперь совсем ее не вспоминает. Хуже того, на мои укоры он недавно сухо ответил: «А я Тамару никогда не любил».

Тамара вечно хлопотала о родне. Придет, бывало, с работы и звонит племяннице Вере: «Я ботинки Володе купила. Когда привезти?» Я начну отговаривать: мол, пусть сами приедут, достаточно того, что ты купила, но она настаивала на своем.

«Алла, я тебе купила очень красивый теплый халатик, мы со Славой приедем, привезем».

«Андрюша, ты когда будешь дома? Я тебе новые ботинки купила, приеду и привезу».

«Слава, поедem к Вере в больницу, она лежит после операции аппендицита, отвезем ей баночку икры».

«Колька-то в Сокольниках в больнице, ему нужна курага и грецкие орехи».

Тамара и маму мою не забывала, покупала ей отрезы, халаты, чайники и прочее.

Она очень любила музыку, глубоко ее чувствовала, легко запоминала и распевала песни и арии из опер. Одно время она в ГУМе продавала пластинки, в основном,

симфоническую музыку. Иногда, по просьбе мамы, Тамара пела ей по телефону. Нравились Тамаре песни на стихи Есенина — «Клен ты мой опавший», «Отговорила роща золотая», она любила пение Козловского, Архиповой, Анны Герман, Утесова... Я всегда жалел, что она не развила в себе певческий талант. К сожалению, в свое время старшая сестра Нина направила ее в торговлю.

В семье Тамары хотя и держали иконы, но от Церкви и от Бога отошли. Внешние блага затмили духовное. К тому же старшая сестра Мария после окончания медицинского института попала врачом-диетологом в... Кремль. Должность ее была военной тайной, и она была очень недовольна, когда Тамара вышла замуж за подозрительного субъекта, который мало того, что в Бога верил, еще и в Церкви прислуживал. Мне даже намекали, что из-за меня Марию могут выгнать из Кремля. Ее родственники хотели, чтобы я ушел из Церкви и пошел работать в магазин грузчиком. А я не только остался в Церкви, но и стал священником, из-за чего они всегда относились ко мне с недоверием. Когда же Тамара тяжело заболела, они от нее отвернулись, могли годами не звонить и не приезжать. В вечную жизнь они, видно, тоже не верят, а потому крайне редко приезжают на ее могилку, да и могилы своих родителей практически не посещают. Тамара тяжело переживала предательство родни, в своем дневнике в годы болезни как-то записала: «Каждый день я просыпаюсь с мыслями, что у меня нет ни родных, ни знакомых... и слезы на глазах. (...) Меня все оставили, все родные».

Я верю, что нас с Тамарой соединил Господь. Она во многом выправила мой путь: в ней была духовная сила, унаследованная, видно, от бабки Матроны, работавшей в Даниловом монастыре, и деда Тимофея, иеродиакона Киево-Печерской лавры. У нее была искренняя вера в Бога, а через меня она постепенно вошла в церковную жизнь.

Майским днем 1962 года мы с Тамарой вошли в Грибоедовский ЗАГС. Тамара держала меня под руку, в другой руке у нее были цветы. Мы идем по ковру: она в черных туфельках на каблуках, в белом платье, сшитом ее мамой, а я в костюме с чужого плеча, при галстук (тоже не моем), если хорошо вспомнить, то и рубашка была на мне, кажется, чужая. Вот такой «шикарный» жених, да при всем том еще бывший семинарист, а в тот момент простой алтарник Николо-Хамовнического храма с «огромным» по тем временам окладом в 60 рублей. Затем было венчание, не такое помпезное, как церемония во дворце, но наполненное молитвой. На венчание нас сопровождал мой товарищ по Семинарии отец Сергей (Кузькин), иеромонах, а венчал тоже мой товарищ — отец Владимир Маркин. Ни гостей, ни родственников не было. Деревянный храм в Удельной: в красном облачении батюшка отец Владимир, хор из трех человек. Но самое главное — здесь был Господь, Он нас соединил, и радости нашей не было предела. А потом мы с Сергием поехали к маме в Хамовники пить шампанское и чай. Как будто вчера это было, да почему-то я один остался, а невесты нет. И белое платье, и цветы, и туфельки, и мой костюм, и я сам тогдашний — все куда-то ушло...

Давным-давно жили-были в Москве Тамара и Слава. Любили они гулять по парку, по ночной Москве, кататься на речном трамвайчике. Он жил в Хамовниках, а она — на Даниловке. Разве это было сорок лет назад? Конечно, нет. Это было вчера...

Говорят, в мае жениться — будешь всю жизнь маяться, а мы «жили мирно в тихом счастье под беломайскими каштанами». Это я сейчас маюсь.

В день сорокалетия нашей свадьбы я услышал Эдит Пиаф. Маленький парижский воробышек всколыхнул мою душу. Слезы, слезы, слезы... Падам, падам, падам... Я не знал, о чем она поет. Наверное, о Франции, о любви. В ее голосе звучала любовь и скорбь каждого из нас.

Я помню Тамирину радиолу, по тем временам большую роскошь, телевизора у нее вовсе не было. Все в ее комнате было бедно: белая печка, буфет, сделанный ее отцом, им же сделанный гардероб, стол — вот и вся обстановка. Радиолка стояла между двумя окошками в красивом блестящем деревянном корпусе с прожилками. В день свадьбы мы слушали Пиаф.

Вчера, в сороковую годовщину нашей свадьбы, я оделся во все Тамирино: чешский серый костюм, который мы покупали в «Праге» (и она долго меня оглядывала, чтобы хорошо сидел). Рубашку достал из гардероба, которую Тамара семь лет назад постирала, но не погладила. Там же я нашел совершенно новую майку — это она мне когда-то купила. Галстук синий в горошек — я его надевал в театр. Ботинки коричневые, «Саламандер». Они уже износились, немножко порваны. И в таком «Тамирином» виде поехал к ней. Накануне я ей принес цветы, красивые, сине-голубые...

А вечером я услышал Пиаф: падам, падам, падам...

Любили мы с Тамарой в театр ходить. Бывали и в Большом, и в Немировича-Данченко, в Ермоловой, в Малом, в Театре эстрады, в оперетте, в Концертном зале имени Чайковского, в консерватории, в филиале Большого, во МХАТе...

Снег, вьюга, а ты подходишь к театральному подъезду. Все спрашивают билеты, а у тебя они есть. Вот сейчас ты окажешься за заветными дверями, где тепло, уютно, все блестит ярким светом, ты снимаешь пальто и поднимаешься по ковровой лестнице, держишь Тамару под руку, а у нее в руках маленькая блестящая театральная сумочка с биноклем. Находишь свой ряд, кресло и садишься. В зале стоит гул, раздается третий звонок, потихонечку гаснет свет, раздвигается занавес. Все волнения где-то позади, перед тобой другой мир, с которым так не хочется расставаться. Мне театр никогда не вредил, он привносил праздник в мою жизнь.

Сейчас, проходя мимо театра, я вспоминаю, как Тамара сидела рядом со мной. Когда спектакль заканчивался, я бежал в гардероб за пальто, снимал с нее туфельки, подставлял сапожки, подавал шубку. Приезжали домой и звонили маме: «Мамка, мы пришли, не беспокойся». Лежит у меня сейчас Тамирино театральное кольцо из янтаря, лежат и старые туфельки где-то под диваном — боюсь трогать. Один я в театр не хожу. Только воспоминания остались. Было у Тамары зеленое новогоднее платье, а поверх она надевала янтарное кольцо и браслет из янтаря — все это я подарил ей в самом начале нашей семейной жизни...

Когда я остался один, мне захотелось окружить себя Тамиринскими фотографиями, чтобы она всегда была рядом. Фотографии увеличил наш прихожанин Саша. Я вставил их в рамки, и Тамара опять оказалась со мной. И я так к этим фотографиям привык, что, когда ухожу — прощаюсь, а прихожу — здороваюсь. А Сашу все хочу отблагодарить: то

просфору дам, то с праздником поздравлю. И всегда, когда он подходит, у меня немного сжимается сердце.

Когда я подарил ему свою книгу, он сказал: «Отец Вячеслав, мне так дорого ваше внимание». Чудесно, когда люди открываются друг другу, молятся друг за друга, и как хорошо, что внимание одного человека исходит из другого слезы. Утешьте человека в беде, и это возвратится вам сторицей.

Сегодня вечером была пассива: все молились, Владыка сказал проповедь о любви, Крест стоял посреди храма, и Господь был посреди нас по Его слову: «Где двое или трое собраны во Имя Мое...» А потом я приехал домой и поклонился Тамаре, а она, как всегда, мне улыбалась с той фотографии, которую увеличил Саша.

У меня на столе две чашки: одна моя, другая Тамарина. Из одной я чай пью, другая стоит семь лет, но чай из нее никто не пьет. Я только изредка ее мою от пыли. Они стоят недалеко друг от друга. Их можно поставить рядом, но я этого не делаю, пускай стоят, как стоят. На Тамариной кружечке — она синего цвета — изображены красные сердечки. Это был когда-то небольшой чайный сервиз. Мы обычно из него в новогоднюю ночь пили кофе. Моя сейчас стоит на полке в буфете, а Тамарина — на столе, на блюде. Одна грустит, что из нее никто чай не пьет, а другая — что пьют в одиночестве.

Сегодня 14 мая — Тамарин День Ангела. Я отслужил литургию, панихиду и поехал на могилку. Стал петь панихиду на кладбище и заметил маленькую птичку, которая мне подпевала. Я полил цветы, а птичка подлетела к листочку и стала пить с него капли воды. Она меня пожалела и подпела одинокому батюшке, а я ее, получилось, отблагодарил свежей водой.

О чем шептал бумаге карандаш...

Снова вечер и снова я один... Лето пришло, завтра 24 градуса тепла, можно купаться, а купаться негде. Я многие годы купался в Чертановском пруду: там бьют ключи, вода прозрачная и водоросли, как в аквариуме. Я приходил на пруд рано, часов в семь, входил в воду и плавал минут десять-пятнадцать. Затем выходил на берег, бегал, прыгал, обтирался и шел за хлебом и молоком. Это было чудесно: раннее купание, плавание, как на даче... Пруд и сейчас на месте, но я теперь туда не хожу. То было раньше, при Тамаре, она в это время еще спала, я возвращался, варил яички, кашу, кофе, она вставала, и мы завтракали.

Я купался и у мамы в Беляеве, часов в шесть утра... только рыбаки там были злые, один как-то закричал: «Вот я тебя сейчас кирпичом по голове»... Особое купание было летом в Архангельском, там тоже рыбаки, но ни один никогда слова не сказал, хотя рыба там покрупнее ловится, чем в Беляеве.

Скоро опять можно будет купаться, да буду ли и где? В Архангельском, пожалуй, а в Чертанове не смогу: после купания надо идти домой и завтракать вдвоем, а я один... значит, и нет никакого купания. Но есть воспоминания, и о них «шептал бумаге карандаш»...

Заходя в комнату после ужина, я говорю: «Тамара, мама, я пришел с вами посидеть». Смотрю на их портреты, сажусь в кресло, беру бумагу, ручку и начинаю писать. Я пишу, а они мне подсказывают. Они мои соавторы. Посмотрю на них и что-то вспоминаю. Интересно, узнали бы меня теперь Тамара и мама, если бы встретили на улице? Не прошли бы мимо? Я очень редко встречаю друзей детства и каждый раз их не узнаю. Седые какие-то, совершенно не те, которых я знал в детстве, и только взглядевшись, вижу знакомые черточки. Сам при этом кажусь себе молодым, будто время меня не коснулось.

Наверное, скажете: и далась ему эта старость, что он о ней столько пишет? А мне просто хочется понять: старый я или еще молодой? Скоро 13 апреля, мой день рождения, а затем 19 апреля, 3 июня — дни рождения Тамары и мамы, очень важные для меня дни. «Не буди того, что отмечалось», — писал Есенин. А я не могу «не будить», столько всего связано с этими датами. Сейчас я праздную их по-другому, с цветами на могилках, с пением панихидок. Как хорошо, что Господь создал цветы, они и на могилках говорят нам о жизни. Я не верю в их увядание, такая красота не может увянуть. Это нам только кажется, что они завяли. При слове «цветы» разве мы видим завядшие? Нет! Значит, они вечны своей красотой, как вечен человек!

Я сегодня долго сидел на поваленном дереве на берегу пруда в Воронках, глядел на берег, на воду, на деревенские домики. Когда-то я здесь был с Тамарой и с мамой. Пролетели чайки, покружились и улетели. Попробовал воду, умылся — теплая. Сложил веточки и развел костер, сидел и смотрел на дымок — все до боли знакомо: и берег, и сосны, и плотина, и над водой наклонившаяся береза, около которой купалась Тамара, и наш пригорочек, где мы любили сидеть, расстелив большое махровое полотенце...

При слове «Архангельское» у меня всегда екает сердце, и становится так сладко-горько, столь милые и дорогие места, и столь близкие сердцу мои дорогие люди, которым так дорог был я. Полюбил я Архангельское на всю жизнь, не могу без него, ни зимой, ни летом нет мне покоя. Поеду и немного успокоюсь, как дома побывал. Да это и есть дом, только без стен и крыши, весь открытый для моего любящего сердца. Зажег сегодня пасхальную красную свечечку, поставил ее на землю и запел акафист Споручнице грешных. Кругом ни души, только Ты, Божия Матерь, и такая дивная красота. Все деревья тянутся к Богу, невысокие даже встали на цыпочки, ни одна травинка не может без Него жить, все устремлено ввысь, в горнее. Тамара с мамой где-то рядом, только я их не вижу. Это молитва притягивает нас друг к другу, соединяет. В молитве очень большая сила, она делает невозможное. А потом пошел дождик, но я уже был в автобусе и смотрел из окна на знакомые деревни и остановки. Люблю эту дорогу, она порой мне даже снится, и часто, если не могу заснуть, вспоминаю Архангельское: поляны, ручьи, перелески, где собирали грибы и ягоды, и с этим засыпаю. Пройдет несколько дней — опять все брошу и поеду. Эти места нельзя забыть, они действительно благодатные. Архангельское. Это слово шепчут листья березы, ручеек журчит. Ар-хан-гель-ское — птички поют, они ближе всех к ангелам. Прислушайтесь — это слово на крылышках несут чайки, летающие над прудом. Разве можно эту красоту забыть, не любить и не приезжать сюда?

Утром в алтаре дьякон отец Сергей передал мне пакет, а в нем... кусочек зимнего Архангельского в рамке: милые любимые Воронки, застывший пруд подо льдом, сосны на склоне, мостик с деревянными перилами, часовенка на пригорке. На картине дата — 2 февраля 1961 года. Художник писал ее, сидя на том самом месте, где обычно сидели мы с Тамарой и мамой. Надо же, какой подарок послал мне Господь, будто само Архангельское передает мне привет из дорогих и близких 60-х годов. Я не могу оторвать глаз от архангельской сказки. Картину подарила мне Даша из воскресной школы — поэт и звонарь с Бородинского поля. Спасибо ей.

Тамара очень любила молитвы «Отче наш», «Богородице Дево радуйся», «Царю Небесный», «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную» и часто повторяла: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». В ее молитве было что-то по-детски непосредственное, лицо становилось такое радостное. Нет ее со мной, а молитва ее осталась. Я каждое утро сажусь на стульчик, на котором она молилась, когда была тяжело больна, и читаю ее молитвы. И мама и Тамара оставили мне свои молитвенные правила, которые я исполняю: за маму пою каждый день акафист Споручнице грешных, а за Тamarу — ее любимые молитвы. Я хочу, чтобы их молитва не прекращалась. Если мы, оставшиеся здесь, будем продолжать молитву ушедших, то тем самым сохраним живую связь с ними. Господь дал нам молитву, и она не должна прерываться. Молю Бога, чтобы и после меня кто-то взял на себя этот молитвенный труд.

Я стоял на лоджии и видел, как подъехала «скорая». Такая же «скорая» по ночам приезжала к Тамаре: два-три вызова за ночь. Как я боялся, что ее заберут в больницу. Я представить не мог, что ее не будет рядом, что дом опустеет и радовался, как ребенок, что хоть ей и плохо, но все-таки она дома. Это была самая печальная радость в моей жизни. И все-таки больницы мы не миновали.

И вот теперь, после моей первой книжки, столько людей ко мне приходят, изливают свою душу, свою боль за живых и ушедших. Может быть, они почувствовали во мне сопечальника, соболезника, и мне кажется, что все, что они рассказывают, это про меня, а им кажется, что все, что в моей книге, — это о них.

«Скорая», а что за ней — никогда не известно... Когда сегодня к дому подъехала «Скорая», я молился: «Господи, помоги этому человеку, спаси его...»

Я много увидел тяжелого в больницах и понял, сколь хрупка человеческая жизнь и как мало отделяет нас от вечности — минута, секунда. В больнице люди так страдают, так быстро уходят. Так и ты можешь уйти, и тебя сюда привезут или принесут на носилках. Я сроднился с больничным бытом. Рядом с Тамарой очень тяжелые больные лежали, и я видел, как их, накрытых простынями, потом увозил большой лифт. Я делал в больнице то, что и предположить бы раньше не мог. Так я любил ее, так жалел, так защищал. Рвалась любовь из меня, как пламя, сжигавшее меня. Все эти палаты,

больничные коридоры, кабинеты, врачи, нянечки, сестры так и стоят у меня перед глазами. И она, Тамара, беззащитная и слабая. Я ни минуты не знал покоя, ни днем ни ночью, ехал, бежал, неся к ней, с утра и до вечера думал только о ней. И не уберег. Терзаюсь этим и ни на минуту не нахожу покоя, всегда она перед моими глазами, где бы я ни был.

Дорога от больницы к метро залита моими слезами и причитаниями: «Господи, не забирай у меня Тamarу». Я никак не хотел верить, что она уйдет.

Если писать о больнице, получилась бы целая книга, но писать об этом очень трудно.

Приснился мне сон: Тамара молится на коленях перед иконами в маминной комнате. Вижу в центре — Спас Вседержитель в голубой эмалевой ризе. Лик Спасителя повернут в сторону Тамары. Присматриваюсь: все иконы смотрят на нее, а Тамара этого не замечает. Затем она поднимает голову и радостно говорит: «Как покойно, хорошо здесь».

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Завтра Родительская суббота. Будем поминать родителей, сестер и братьев, жен и мужей, всех, знакомых и незнакомых, ушедших в тот прекрасный мир, в который нам всем нужно собираться. Чуть-чуть только надо потрудиться для этого прекрасного далека, и все тяжелое, что мы видели в этом мире, Господь покроет любовью. Но мы даже этого «чуть-чуть» порой делать не желаем и закрываем для себя вход в Божий мир. Но опять же не все потеряно, для этого существуют Родительские, — придет кто-то в храм, помолится за нас, и двери в этот прекрасный мир немного приоткроются. Иначе зачем мы собираемся толпами под сводами храмов? Для того, чтобы вымолить родных. Я всегда молю Господа: продли мое пребывание здесь, чтобы я мог помолиться за ушедших: за Тамару, за маму, за дедушек и бабушек. И Господь продлевает... Сколько записок в алтаре, и за каждого вынута частичка из святой просфоры, и будет она погружена в Святую Чашу, в Пречистую Кровь, пролитую за нас Спасителем. Имена обступают со всех сторон, а за каждым именем стоит человек, которого я либо знал, либо видел на фотографии, но если и не видел никогда, то мысленно вижу теперь. Видно, в имени многое сокрыто, что очень трудно уловить и передать словами. Поминаешь архимандрита, которого никогда не знал, а он стоит у тебя перед глазами; новопреставленный младенец Илья — и опять возникает образ; раба Божия Евдокия — видишь ее в платочке. Когда имен много, то они проносятся перед тобой, как в калейдоскопе... А тебе нужно каждого отметить молитвой: они же за этим к тебе пришли. Родные вовсе стоят как живые: вот мой прапрадед Марей, которого я никогда не видел, но вижу сейчас: бородатого, крепкого, сильного. Я за всех молюсь, за знакомых и незнакомых, и все они обступают меня, просят молитв, ждут, помянут ли их, очень ждут. И конечно, мы идем на могилки: поплакать, помолиться вместе с дождичком, который целый день сегодня накрапывает, плачет вместе с нами. «Проплясал, проплакал дождь весенний», как каждый из нас на этой земле.

Ждут, ждут наших помин наши близкие и, наверное, волнуются, придем или не придем, навестим или не навестим, как и в земной жизни. Если проводим их на погост и забудем, так же забудут потом и нас. Но Церковь напоминает: завтра Родительская, спешите, ведь мы все одно целое, одна семья, и те, кто здесь, и те, кто там, и нельзя нам забывать друг друга. Бог даст, завтра встану пораньше и с первым метро — в путь, вынимать частички и поминать, а затем на могилки.

Родительская... Весь мир ушедших и живых завтра погрузится в Святую Чашу, в Кровь Господа, а я, недостойный, буду совершать эту Божественную службу.

Мама

Маму мою звали Елена, в молодости соседи по подвалу называли ее Ленка, в детстве двоюродный брат дразнил Ленка-Пенка, а когда к нам в подвал приезжали ребята из Семинарии, они обращались к маме по имени и отчеству: Елена Филатовна. Мама гордилась своим отчеством, ведь Филат — необычное имя. Однажды в наш подвал приехал архиепископ Вениамин и, узнав мамино отчество, поправил:

«Феофилактовна». После этого мама стала совсем уж солидно именоваться — Елена Феофилактовна.

Записано в 1979 году на Отдание Сретения со слов мамы:

Дедушка Филат Васильевич (мамин отец) родился в 1880 году. Отец дедушки, Василий Яковлевич, был крестьянином. Его отец умер рано и оставил шесть человек детей. Мама дедушки Филата, Акилина, была из барского рода. Она была очень красивая и сбежала с каким-то гусаром вопреки воле отца, который ее вернул и заставил выйти замуж за крестьянина Василия. В доме Акилину все звали матушкой, с утра она давала распоряжения, а если что было не по ней, била по щекам, а виноватый становился перед ней на колени и просил прощения. Муж ее был некрасивым, она, видно, его не любила, и в одно прекрасное утро сбежала от него.

Никто из рода дедушки Филата с нами не знался, а у него было три брата, Феоктист, Леонтий, Григорий, и две сестры, Пелагея и Евдокия. Дедушка очень любил Леонтия, чья жена Татьяна стала крестной матерью моей мамы. Леонтий умер молодым, двадцати восьми лет, а его сын Николай, дедушкин крестник, погиб на фронте.

Жена дедушки, Ирина Кузьминична (мамина мама, моя бабушка Ариша) в девичестве была Ключева. У нее были два дяди, родной — Филипп и двоюродный — Петр, братья ее отца Кузьмы. Петр как-то на ночь обругал свою мать и... умер. Прабабушку мою звали Агриппина, а ее отца Марей (по святцам Мар). Моего прапрадеда Марēja называли песенником: он любил ездить по деревне и петь песни. Жил он до 105 лет, никогда не болел и ни на что не жаловался: перед смертью пошел в ригу и лег там, жена подходит (она была у него вторая) и спрашивает: «Ты чего лег?» А он: «Мне что-то плохо, но если смерть придет, я ее цепом!»

У бабушки Ариши была глубоко верующая и очень красивая сестра Пелагея: она никогда не плясала и черным словом не ругалась, считала и то и другое грехом. Потом Пелагею парализовало, и она семь лет лежала без движения. Моя мама называла ее мученицей. Перед смертью Пелагея предварительно соборовалась, а потом как-то сказала: «Идите за священником, умирать буду». Священник жил за три версты, он только на подводу сел, как она умерла, и он по приезде отслужил панихиду. Позднее Пелагея приснилась парализованной бабушке Арише. «Посмотри, как я живу», — говорит. Вошла я в дом к ней, а там полно икон в ризах. «А ты, — говорит», — вот где будешь жить, открыла чулан, а там темно и паутина. Но молись, и Господь тебя избавит». Бабушка Ариша жила в прислугах у священника и диакона, умерла она 8 октября 1955 года, похоронена на Даниловском кладбище.

*Снеговая пустая дорога,
Только скрип, только снег и поля.
Ах, как выткало небо много
Рассыпающего миткала.*

Я вспоминаю рассказ бабушки Ариши. Она работала в цехе, начальником которого был предобрейший мужчина. Как-то выткали миткаль с новым рисунком — и на

следующий день все работницы цеха пришли в новых миткалевых платочках. Входит начальник: «Бабоньки, да как же это так, миткаль с таким рисунком еще и в лавках не появился?» Все смеются, а он громче всех. Жалко, что такой платочек бабушка не оставила мне в наследство.

Тамарина мама работала на фабрике Брокер, сейчас — «Новая заря», где выпускали «Духи императрицы», посвященные Александре Федоровне, которые позднее переименовали в «Красную Москву». У них до революции была форма: платочек, передник и высокие ботинки на шнурках, и все в районе отличали их по французским духам, которыми пахло за версту. Хозяева не видели в этом никакого воровства.

Смутно вспоминаю мамины рассказы о ее детстве. Что же она рассказывала? Что ее очень любил «папаня», на закорках катал, души в ней не чаял, что такого отца ни у кого не было. Вспоминала, как на Пасху яйца катали, что ходила она чаще босиком, что дразнили ее Ленка-Пенка, что ребята в деревне были дружные. Рассказывала, как хороводы водили, как одевались. Парни на Пасху наряжались в красные рубахи. Зимой на ноги надевали онучи. У нее были маленькие лапоточки, рубашка длинная... и больше ничего.

Корову звали Зойка, зимой ягнятки в избе жили, по лавкам прыгали. В Красном углу иконы стояли. По праздникам ели щи, кашу, драчены — это что-то печеное из пшенной муки, очень вкусное. В деревне жил дядька, который не верил в Бога. Деревенские его не любили. Когда он умер, к нему долго не могли войти. Так несколько дней и лежал один. Рассказывала о богатом деревенском мужике, дяде Андрее, который ее любил и угощал чем-то сладким. У него по праздникам всегда за столом сидел батюшка. Бабушка привезла ее в Москву — она там жила у богатых — и купила ей сыру. Мама откусила, да выплюнула — мыло... разве это едят?.. В этом богатом доме ее хорошо принимали. Дом находился где-то в районе Смоленки.

У меня есть поэтическая фотография мамы, на которой она в матросском костюме, в волосах — цветы, на шее — нитка бус, в расклешенной юбочке и с гитарой, стоит прислонившись к березкам — что-то есенинское есть в ее позе. Она очень хорошо играла на гитаре, пела, танцевала. С трудом разобрал дату — 20 августа 1933 года. Маме двадцать лет. Красивая, молодая — глаз не оторвать. Я будто впервые ее увидел.

Завтра праздник преподобного Сергия, я решил пропеть ему акафист, но никак не могу найти книжку. «Мамка, помоги! Я же не знаю наизусть, как ты знала». Полез в столик, у которого она молилась, — и чудесный акафист у меня в руках.

«Сергов день» — так мама называла 18 июля и 8 октября. В эти дни она очень рано вставала и ехала на Ярославский вокзал. В восемь-девять она уже была на Лаврской площади Троице-Сергиевой лавры. Я приезжал чуть позже. Встречались мы всегда у Троицкого собора, прикладывались к мощам Преподобного. Нас всегда пропускали. Потом стояли молебен на Лаврской площади и шли обедать в Семинарию. Мама очень любила сидеть среди батюшек и семинаристов, ей нравились семинарские обеды,

особенно компот. В конце обеда шептала мне на ухо: «Сынок, а еще один компотик нельзя?»

День Преподобного мы всегда ждали и никогда не пропускали. 18 июля папу взяли на войну. С 17 на 18 июля 1918 года расстреляли царскую семью, безропотно принявшую свой крест. А теперь, через столько лет, я пропел акафист Преподобному у маминой кровати и как будто с ней пел: «Радуйся, Сергие, преславный чудотворче!» Был на могилках и поздравил своих с праздником тропарем, величанием и акафистом. А Лавра так и стоит перед глазами: и очередь к Преподобному, и звон колоколов, и молебен у раки с мощами, и мой академический храм — все, чем я жил и живу. Тишина Троицкого собора, рублевские иконы... Может, приведет Господь и как-нибудь съезжу.... Вслушайтесь: Троице-Сергиева лавра — колокольным звоном отдается в сердце, и хочется от радости плакать и молиться....

Мама на разных листочках бумаги вела пусть маленький, но дневник. Что-то западало ей в душу, и она записывала. Я листаю старые записи и нахожу небольшой отрывок: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты дал мне увидеть сына моего посвятившим себя Твоему служению». Ну как не заплакать? Да, мама видела мое служение и молилась со мной в храме с 1971 года по 1995-й четверть века. Дал ей Господь эту радость, и мне дал радость Ему служить. Я верю, что она и в вечной жизни видит мое сегодняшнее служение, Господь этого у нее не отнял, этого отнять нельзя, такое ведение Богом дается за веру и не отнимается.

Недавно мне приснился сон, что маме вручают церковную награду: она вышла ко мне сияющая, с коробочкой в руках, в которой лежал светящийся крест.

А вот тетрадка, где перечислены храмы и монастыри, в которых мама молилась: 72 названия: под 23-м номером храмы Архангела Гавриила и Феодора Стратилата на Чистых прудах. Запись сделана еще до моего служения там. В те же годы под номером 61 — Петроград: Лавра и соборы города (заметьте, Петроград, а не Ленинград, она никогда не произносила это страшное имя). А вот еще одна запись: 29 октября, храм мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господне поют разбойника... Она очень любила это песнопение. А под номером 44 храм Пресвятой Троицы в Удельной, в котором мы с Тамарой венчались. А вот стихи, которые мама очень любила:

*Я великий грешник
На земном пути.
Господи, помилуй,
Господи, прости.
Господи, помилуй,
Господи, прости,
Дай мне, Боже, силы
Крест мой донести.*

И Господь дал моей маме силы, до последнего дня она ходила в храм... Падала, разбивалась, ноги мне показывала, от коленей до голени все черные, и лицо было

разбито, а все шла. Я ей говорил: возьми палочку, но она не брала: я еще бегаю, говорила, и опять шла в дом Божий. Ее ботиночки богомольные, в которых она спешила в храм, все стоптанные, сейчас стоят под ее кроватью. Я потрогаю их и заплачу. Больше они не побегут, успокоились.

До встречи, дорогая мамка!

Папа

Прямо перед войной папа сфотографировался со мной на руках. Я не спросил маму, где мы с папой фотографировались, а она, наверное, могла бы рассказать. Вероятно, он взял меня на руки и пошел в фотоателье, которое находилось где-нибудь недалеко от дома; наверное, он нес меня на руках, а может, где-то я и сам рядом с ним шел... А мама была дома или на работе, иначе она бы с нами пошла и на фотографии была бы рядом.

Папа, наверное, что-то предчувствовал: как он смотрит, будто вглядывается в мое будущее, а может, видит то, чего мы не видим, он меня обнимает, а я держусь за его палец, не отпускаю. У меня взгляд немного удивленный: что-то будет с папкой? Мне кажется, мы с папой понимали друг друга: я чувствовал, что останусь один, а он, кажется, предвидел, что у меня в жизни будет что-то очень важное, а что — тогда ему этого было знать не дано. Так вот мы и сидим вместе, мой папа и я: он — будущий воин, а я — будущий священник.

Папка мой родной, держишь ты меня на руках, будущего батюшку, и не знаешь об этом, да и о войне, наверное, только догадываешься... Все для тебя кончилось на Калужском поле: и война, и мое детство, все ты оставил: и меня, и маму, и подвал, и бабушку. Мама все говорила, что ты в степи замерз, как ямщик из песни. Теперь и мама к тебе ушла, и бабушка, а меня все носит по этой земле, все никак снегом не занесет, нет еще, видно, такой метели, чтобы запорошила и меня... А Калуга для меня с тех пор родной стала, так хочется поехать и поклониться ей, припасть к этой священной земле и просто поплакать, помолчать и побыть с тобой. Соскучился я: ведь шестьдесят лет с лишним миновало. Вон сколько времени я тебя не видел, а ты все такой же, и я с тобой все такой же маленький Слава.

Папа родился в 1910 году в Самарской губернии, мать его бросила в детстве, и он воспитывался у зажиточного человека, который был ему как родной отец. Папа говорил, что если бы нашел своего хозяина, то привез бы его к себе и почитал за отца. Но хозяина его раскулачили и куда-то сослали, а папу, слава Богу, не тронули, но оставили на улице. Он решил вместе с товарищем поехать в Москву, но по дороге товарищ сбежал со всеми деньгами и документами. В Москве папа ходил по столовым, объедки собирал. Кто-то поинтересовался: «Что же ты, молодой парень, объедки ешь?» Папа рассказал все. «Да ты в милицию иди и все расскажи, тебе там документы выправят». А ему, деревенскому парню, это и в голову не пришло. Так он устроился работать в милицию при Киевском вокзале. Потом работал на пивоваренном заводе, вначале грузчиком, а позже агентом по снабжению. Жил он там в общежитии, где его ставили всем в пример: всегда трезвый, обходительный и всем улыбается, да и кровать всегда заправлена. Мама рассказывала, что идет, бывало, с ним по улице, а на пути

пивные забегайки: хозяева выбегают и кричат: «Николай Васильевич, заходите, пивком угостим», — а он улыбается и проходит мимо.

Остались фотографии: папа-милиционер в шинели, туго перепоясанной ремнем или портупеей, на боку револьвер, а на голове буденовка; папа с друзьями в военной форме; папа в костюме и при галстуке. Мама говорила, что галстук ему приделали в фотоателье.

Мне было три года, когда папу взяли на войну. В пять часов утра в день преподобного Сергия 18 июля 1941 года в дверь постучал мужчина: «Давай собирайся в военкомат». Папа сказал бабушке: «Мамка, ставь чайник, сейчас приду». И не вернулся. Через день или два пришел другой мужчина и принес все его гражданские вещи, сказав, что папа находится в клубе завода «Каучук» на Плющихе и если мы хотим его видеть, то надо бежать туда, пока его не угнали. Мама побежала, но ее к нему не подпустили, она только видела его в окне второго этажа, и он что-то ей кричал, но среди криков и шума она не смогла разобрать слов. Потом в подвал кто-то принес от него записку, а позднее стали приходить письма с фронта: желтые треугольнички из тетрадных листов в косую линейку, сложенные вчетверо. Читаются они с трудом, так как написаны карандашом и выцвели от времени, а на сгибах того и гляди порвутся. Несколько лет назад я переписал папины письма для сохранности. Вот некоторые слова из пяти писем за те несколько месяцев, когда он еще был жив: июль, август, сентябрь, октябрь сорок первого. Самое первое письмо еще из Москвы: «Я нахожусь покамест в Москве. Можно только приехать ко мне, а писем не посылайте». Все письма начинаются с обращения: «Здравствуй Славик, Лена и мама» или «Здравствуйте мои родные, Слава, Лена и мама. (...) Из продуктов, смотри, ничего не присылай. Еще, Лена, подходит зима. Я знаю, что в сынка пальто нет (так и написано в сынка), ты чего-нибудь там сообрази, продай чего-нибудь из моей одежды и купи ему пальто. А если нельзя продать, тогда сшей ему с моего пальто или с костюма моего серого. Можно с темно-синего моего пиджака, вообще не жалея ничего. Будем живы, придем, наживем, и обязательно мою шапку отнеси шапочнику и перешей ее на сынка. Пущай носит он ее, а пиджак меховой пускай носит мама, и, пожалуй, наденешь сама, когда будет холодно. Он теплый и легкий». Всегда, когда это читаю, по щекам текут слезы, а мама, наверное, все папины письма знала наизусть и всегда рассказывала о папе, пересказывая строчки из его фронтовых писем. В одном он писал: «Лена, скажи маме, чтоб она обо мне не плакала, не беспокоилась. Я сейчас покамест живу лучше всех красноармейцев и даже лучше вас самих. Я попал в хорошее отделение, лучше не может быть. (...) Обо мне не беспокойся ни в каких смыслах». Мама, вспоминая об этом, всегда плакала. Она-то понимала, что это значит «лучше вас самих». В конце всех писем папа передавал привет Дарье Ивановне, моей крестной, и соседям. А затем писал свой адрес:

Действующая Красная Армия
487 полевая почта
299 арт. Полк, 5я батарея
Винникову Н.В.

Моего деда Василия, богатого прапорщика, убили во время революции на улице. Бабушка Агафья Ивановна умерла перед войной, а до этого приезжала к нам в подвал. Была она очень статная и красивая, но маму мою недолюбливала, бывало, приедет,

«подожмет губы, сидит и молчит»... Папа как-то не выдержал: «Лена, ну-ка оставь нас одних». Мама вышла, а когда вернулась в комнату, то не узнала Агафью Ивановну, — такая та стала ласковая и приветливая. Так папа умел все улаживать. Агафья Ивановна вышла второй раз замуж, мужа ее звали Сергей, а сына от второго брака — Александр. Папу моего она воспитывать не стала, а сдала его в детдом, оттуда он и попал к хозяину. Папа же, когда вырос, привечал своего сводного брата Сашку и заботился о нем.

Папка, может, за твою смерть и дал мне Господь священство, ведь ты говорил маме, что за эту власть, за большевиков, воевать не будешь, за Россию идешь воевать, а не за них. Мало кто тогда понимал, что то была власть Антихриста. Они ведь Бога решили убрать из страны: храмы рушили, людей убивали, — и многие, очень многие им поклонились. Может, за то, что ни ты, ни мама, ни бабушка не поклонились им, и дал мне Господь священство. Не мне судить, но почему-то мне так видится: рядом с домом стоит храм святителя Николая, ты — Николай, я — Николаевич, — везде святитель Николай с нами.

А маму Господь оставил, чтобы она за нас молилась, и она свою миссию выполнила до конца. Через десять лет я фотографировался уже с мамой, и она прожила со мной всю оставшуюся жизнь. Верю, что встретимся, верю, а как же не верить, если Господь всех нас сотворил для вечной жизни!

Андрей Агарков, мой сосед по подвалу, старше меня лет на десять. Он недавно мне сказал, что помнит моего папу: «Я по коридору шел, а он посмотрел на меня и как-то задержал свой взгляд. И вот это у меня так и осталось». Андрюше тогда было лет десять, а мне год или два. Удивительно, что прошло более шестидесяти лет, а он помнит взгляд, даже не слово, а просто взгляд...

Вот и прошла Троицкая родительская. Народа было не так много, но помолились от души. Троица, березки, молитвы на коленях о сошествии Святаго Духа на апостолов, а значит, и на всех нас, они просто были первыми. Стоим на коленях и молимся: радостно не только нам, но и ушедшим в тот дивный Божий мир. Потом я поехал на Даниловское кладбище: на могилах оживление, ушедших с праздником поздравляют. Я купил пионы у маленького старичка, у которого всегда самые дешевые цветы. «Да мне лишь бы продать, — говорит, — чтобы не завяли да людям радость принесли». Недалеко от Тамары похоронен молодой мужчина: на дощечке имя написано «Константин» и надпись от мамы «Закатилось мое солнышко...» Маму зовут Лия: когда мы Тамару хоронили, она на могилке была, так и познакомились. В одну из Родительских суббот я подарил ей свою книгу. Она всегда с тех пор к Тамаре заходит и молится, а я за ее сына Константина молюсь и могилку благословляю, и, кажется, мы друг друга хорошо понимаем, иногда и поплачем... Соседи по могилке. Я очень уважаю тех, кто ушедших помнит: значит, у людей сердце доброе, Господь в нем.

У меня свой путь на кладбище: зимой на нем редко встретишь убранные могилки. Летом, правда, могилки убирают. Смотришь, она совсем заросла, а потом ее подмели, убрали и опять оставили на долгое время. Я иногда думаю: кто на мою могилку придет? Родственников у нас с мамой нет, а Тамарина родня — не родня. За семь лет у моей мамы на могилке никто из них не был, и знаю, что никогда не придет. Им ни мама моя

не нужна, ни Тамара, ни отец, ни дед. Пасха, Родительская, а их нет; Рождество, Новый год — их тоже нет; лето три месяца — ни разу никто не пришел.

Троица. Завтра опять приеду: праздник будет, Духов день, надо будет всех поздравить, березки принести и молитвы, которые в храме читались коленопреклоненно, хорошо бы донести и не расплескать...

Много цветов у Тамары, и почти все пионы: белые, розовые, бледно-розовые — и все благоухают. Так хорошо здесь, что и уходить не хочется, так бы и остался, да вот домой надо ехать... Где он, дом наш? Кто его знает... Может, и ехать никуда не надо? На кладбище очень хорошо: солнце светит, зелени много, березки... Здесь и зимой хорошо, и летом. Вокруг кустики, деревца, оградка да ветер, который гасит свечи, а я их опять зажигаю. Зачем мне идти домой? Тамары там нет, она здесь, а мой дом там, где она... Вот и спешу к ней. Но прихожу только в гости и опять ухожу.

Один сейчас среди могилок хожу, наверное, скоро стану неотъемлемой частью Даниловского кладбища, и меня будут показывать экскурсантам: это Духовской храм, это могилка Матронушки, а среди могилок ходит батюшка, вы его всегда здесь можете увидеть, в любую погоду, зимой и летом, утром и вечером, он здесь живет. Что же он и домой не уходит? А его дом здесь. Вон, видите, с цветами к маме пошел, а потом вернется к матушке, мама у него около стены похоронена, а матушка здесь, недалеко от входа. Как-нибудь и на ночь здесь останусь и сольюсь с самим храмом, с могилками, навечно, навсегда...

— Как пройти к батюшке Вячеславу?

— А это прямо, мимо храма и направо... у самой стены.

На Преображение я поехал на кладбище и захватил с собой три яблока. По дороге встретил нашу прихожанку — она на службу опоздала, — подарил ей два. Оставшееся яблоко положил Тамаре на могилку, а к маме пошел пустой и немножко опечаленный. Навстречу бабушка с корзинкой. Я говорю: «С праздником!» Она достает большое красное яблоко и дает мне. Вот и мама без яблочка не осталась.

У меня на серванте семь яблочек, они все уже сморщились, как старички. Стоят рядком: самое маленькое, потом побольше — по возрастающей. Самое маленькое — это 1995 год, потом 1996-й и так далее, последнее — 2002 года. Я очень люблю праздник Преображения, освящение плодов, яблок, винограда. Раньше после праздничной службы я привозил несколько яблок домой. Когда их привозишь освященные, пахнущие садом, красивые, румяные, то в дом как будто врывается яблоневый сад. Особенно пахла антоновка. Если яблок было много, то пекли яблочный пирог, вся квартира пропитывалась яблочным духом. А теперь эти преображенские яблочки, сморщенные и потерявшие свой бравый вид, стоят у меня на серванте. Одно, два, три... За семь лет семь яблок. Они лежат у Тамариного портрета. Я кладу их для нее и поздравляю с праздником. Я выбирал самые красивые, самые крепкие. Время их и не берет, только сморщились. Когда я каждый год кладу свежее, оно рядом со сморщенным кажется королевским, а потом потихонечку тоже сморщивается. Думаю:

сколько еще наберется преображенных яблочек, хватит ли им места на серванте и будет ли лежать здесь восьмое? У одних морщинок побольше, у других поменьше, как у старичков разных возрастов. Мне кажется, по вечерам они мне улыбаются, их морщинки оживают, они довольны, что их не съели, не испекли с ними пирог, что они такие долгожители. Я, наверное, тоже скоро превращусь в такое же сморщенное яблоко. Очень хотел бы попасть в их яблочную семейку, лежал бы рядом и улыбался сквозь морщинки, а они бы говорили: «Это отец Вячеслав, теперь у нас есть свой батюшка...»

Праздник Успения Божией Матери. Как говорила мама: «Сынок, в этот день ты навсегда остался в Церкви». Я поехал на Успение в Лавру и там остался. И вот прошло 45 лет... И снова был чудесный день. Отслужил раннюю и поехал с моей духовной дочерью Леной на могилку ее папы на Востряковское кладбище. Лена рассказывала мне про валун на его могилке, и вот теперь я увидел большой камень, на котором написано «Иван Волков», а над ним стоит белый деревянный крест. Валун обложен камешками, а среди них цветочки. Лениного папу я видел только на фотографии, но когда молюсь за него, то он у меня часто возникает перед глазами. Мы помолились, пропели панихиду, прикрепили к кресту икону Божией Матери Иверской. Матерь Божия будет теперь охранять могилку и его хранить в вечной жизни. Во время молитвы горели большие красивые свечи, оставшиеся с архиерейской службы. Нам было так хорошо, потому что Христос был посреди нас, и верно, будет всегда.

Недавно Лена разбирала какие-то бумаги и наткнулась на записную книжку своего папы, из которой выпали небольшие пожелтевшие листики бумаги со стихами. В них, для меня, целое есенинское сокровище:

*Море голосов воробьиных.
Ночь, а как будто ясно,
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно.
И на устах невинных
Море голосов воробьиных.*

Мне сразу вспомнилось: «Листья падают, листья падают...» Я почувствовал, что пришла весточка оттуда, откуда вести доходят очень редко. И пришла от человека, который, как и я, смог проникнуться есенинским настроением и с головой погрузиться в его стихи.

23 октября с первым автобусом поехал на могилку к Тамариной маме, Ефросинии, на Хованское. Покупаю цветы — гвоздики, белые маленькие астры — и думаю: «Воду, наверное, на кладбище уже отключили, как и на Даниловском, и цветы быстро завянут». Иду по дорожкам. По пути потрогал краны, где должна быть вода, молчат. Сворачиваю к могилке. Вижу столик, а на нем бутылка с водой. Налил воды в баночку, поставил цветы и поблагодарил Господа.

Мне часто кажется, что Тамара куда-то вышла и сейчас придет, а я сижу и жду ее. Это чувство, видно, помогает мне держаться, оно где-то в подсознании. А если бы его не было, то не знаю, как я переносил бы свое одиночество. А так все годы жду не дождусь. У меня все, как было при ней, ничего не изменилось, да и сам я все такой же, да вот только убирать в доме некогда. Я все на могилки тороплюсь, если один день не поеду, то мучаюсь, как они там. Хотя на минутку, да зайду.

Сегодня пришел к Тамаре, а могилка вся снегом засыпана, стал снег отбрасывать, и вдруг — гвоздика, живая, самая настоящая, на снегу, розовая, как любила Тамара. Кто-то принес и положил, а потом пошел снег. Кто-то или меня очень любит, или мою грусть, вернее, меня в моей печали по Тамаре. Мою мамушку мало кто знал. Я так благодарен тому человеку, который принес эту гвоздику, и помолюсь за него. Снег, гвоздика и икона Божией Матери Споручницы...

Ко мне на кладбище привыкли: рабочие кивают, собаки подходят, есть просят, вороны подлетают — все мы здесь свои: нищие, бомжи, могильщики, вороны, голуби, собаки. Привыкли друг к другу, здороваемся, с праздником поздравляем.

Страшно, когда человек умирает для всех и люди вычеркивают его из памяти. Для большинства ушедший человек — отрезанный ломоть. Владимир Соловьев пишет: «Умерли твои отцы, но не перестали существовать, ибо ключи бытия — у меня, говорит Вечность, не верь, что они исчезли, и, чтоб увидеть их, свяжи себя с невидимым верной связью Добра: чти их, жалея о них, стыдись забывать их». И дело здесь не только в посещении могилок и молитве (что очень важно), но в памяти о человеке. Нужно чувствовать его рядом, не выбрасывать ушедшего из своего сердца. В земной жизни вместе мечтали, радовались, переживали, работали, вместе молились, и вдруг... о человеке забывают как о чем-то уже ненужном. Такое отношение — предательство, а если ты предал, то предадут и тебя, когда ты уйдешь из этого мира. Если дорог тебе человек, то дорог должен быть до конца. Тогда любовь твоя и на могилку тебя поведет. А если опустили в могилу и забыли, значит, все было напускное: и встречи, поцелуи, и подарки. И лежат наши прежде «любимые» на кладбищах одинокие и заброшенные, ждут, пока нас к ним привезут и положат на вечное упокоение. Что мы им тогда скажем, чем оправдаемся?

Отец Димитрий Дудко пишет, что он отпевал самоубийц и некрещеных вопреки всем канонам, потому что жалко ему было этих людей и их близких. Ко мне в храме несколько раз подходила пожилая женщина с просьбой отпеть некрещеного сына Владимира. Я сначала отказывал, но глаза ее, полные скорби и печали, не давали мне покоя. И тогда я подумал: все мы человеки, рабы Божии, надо бы отпеть, успокоить ее, сделать это по ее вере, а там уж Господь Сам решит. Надо любовью постараться

покрыть ее ни с чем не соизмеримую материнскую боль. Ведь первых христиан как-то провожали в путь без крещения, тех, кто заявил о вере во Христа и тут же был предан мученической смерти. Они, наверное, страдания приняли во крещение. Пусть отпет будет раб Божий Владимир по страданиям его любящей мамы».

У могилки стоит священник, а с ним трое солдат. Я подумал: «Как хорошо, солдатики пригласили батюшку отслужить панихиду по близкому человеку, может, однополчанину». Возвращаюсь тем же путем, слышу: панихида всю поется, канон, да так здорово, и одни мужские голоса. Батюшка начинает: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего», а они подхватывают. Откуда же такой хор? Поравнялся с ними: трое солдат и один в гражданском, но с виду тоже солдатик, все молоденькие, лет 19-20, поют панихиду, а батюшка им даже не подпевает: у них и так здорово получается, зачем же им мешать. Вот такие теперь у нас солдатики встречаются — настоящий церковный хор. Вы бы посмотрели, какие молитвенные и торжественные у них были лица!

На кладбище встречаешь разных людей. На Даниловском я покупал цветы у Миши, который оказался мусульманином. Хороший открытый человек, всегда выбирает самые свежие цветы и продает мне дешевле, чем другим: «Для вас дешевле, я вас знаю много лет». Недавно он меня спросил: «Можно ли мне, мусульманину, зайти в православный храм?» Я говорю: «Конечно, можно, я это только приветствую». Помоги ему, Господь.

Я боялся, что уйду раньше своих близких. И вот остался один. И на кого надеяться, кто будет рядом? Кто за руку подержит, кто слово скажет? Я знаю: если бы это было возможно, Тамара пришла бы ко мне, прибежала бы и не оставила в последнюю минуту одного. А может, так и будет, ведь многие при уходе что-то видят. Может, и я увижу своих.

Болезни не выпускают меня из своих цепких рук, да я думаю иногда, что пора. Но еще не отмолил кого-то, не отмолил своих грехов. Как уходить? Почему так холодно в комнате? Или это на душе холодно? Нет ни шагов ни голосов. Окружают меня безмолвные стены. Душевную боль ничем не заглушить, только молитвой.

Иподиакон Дима принес в алтарь фотографию примерно десятилетней давности: митрополит Владимир (Сабодан) на фоне открытых врат, настоятель Александрийского подворья целует руку владыке Нифону, я стою у Престола. Дома я решил рассмотреть фотографию повнимательнее, (все-таки десять лет с той службы прошло!), вдруг вижу: белый платочек, черное пальто, которое когда-то было голубым, а потом его перекрасили в черное... Мама! Стоит на своем месте: я смотрю на нее, а она — на меня. Пришла, навестила меня, утешила в скорби. Чудо.

Мама все напоминает мне о себе. Сегодня собираюсь утром на службу и вижу — какой-то листочек высовывается из вороха бумаг, на нем маминой рукой написано:

«Восстани и иди на дело, на которое призвал тебя Господь». Мама, мама, она и оттуда обо мне заботится, выправляет мой путь.

Завтра обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Я приехал на кладбище рано, около девяти. Солнце еще не палило. Вспомнил маму и ее поездки по понедельникам к Илии Обыденному. Я верю: по понедельникам мама и в той вечной жизни одевается во все «кобеднешнее», то есть лучшее, и спешит на акафист к преподобному Серафиму, а по вторникам идет к Споручнице. В среду едет на Землянку к Покрову, в четверг — в Хамовники на акафист святителю Николаю, в воскресенье — в Сокольники на акафист Иверской.

В вечности не будет страданий, я не верю в них, там будет просто разная удаленность от Бога, но в каждой такой удаленности будет радость, будет любовь. Господь взял на себя все страдания мира, и мы Им любимы до конца, до Его крестной смерти. Ведь сказал Спаситель: «Приидите, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Вот люди и идут, покуда Земля существует, и радости их не будет конца.

Скоро будет 100 лет со дня обретения мощей Преподобного. И на земле и на небе будет торжество.

Мне недавно привези сухарики от Преподобного. Батюшка Серафим очень добрый и всех приходящих к нему одаривает особыми преподобно-серафимовскими сухариками. Вот и мне прислал в подарок. Я каждый день читаю ему тропарь. У меня есть его иконочка, приложенная к мощам. Он мне так же дорог, как и преподобный Сергей. Произношу имя Сергия, и за ним сразу всплывает имя Серафима. Жили они в разное время, а дух имели один. Нас, наверное, притягивает к ним их простота, их препростое преподобие. Они открытые, доступные, светлые. Написать бы их на одной иконе, как они вместе мишку кормят, и праздник для них двоих учредить в один день — серафимо-сергиевское торжество. У меня в сердце они неразрывно связаны — хранители Руси, иже добродетели подвижники, от юности Христа возлюбившие.

Ублажаем, ублажаем вас, преподобные отцы Сергие и Серафиме, и чтим святую память вашу!

У Тамары было больное сердце, и ей трудно было выбираться в праздники в Лавру, когда там столпотворение. Мы с ней ездили в будни, когда было тихо и спокойно. Тихонечко, не спеша доберешься, войдешь в Лавру, встретишь знакомых, пройдешь в Троицкий собор, приложишься к мощам преподобного Сергия, поставишь свечи, возьмешь масла, посидишь на лавочке, попьешь водички, наберешь с собой и не спеша, тихонечко идешь к станции. На душе хорошо: съездил, помолился, взял благословение у Преподобного. Мы с Тамарой заезжали еще и в Абрамцево. Там избушка на курьих ножках Васнецова и храм, им расписанный, в то время закрытый, и все как в сказке, кругом ели, сосны и чудесный абрамцевский воздух.

Лет девять тому назад мама сказала мне: «Сынок, если останешься один, уходи в Данилов монастырь и там в келье молись». Я слушал, согласно кивал и не возражал. Она была со мной, Тамара рядом. Что я ей мог сказать? Но слова ее запомнил. И вот как-то у

Данилова монастыря встречаю отца Зосиму, моего крестника, а если проще — Игорька, каким я его крестил когда-то. Разговорились.

— Отец Вячеслав, я рассказал отцу наместнику, архимандриту Алексию, что вы один остались. Он вас хорошо знает и говорит: «Передай отцу Вячеславу, пусть придет ко мне, если захочет, я для него выделю келью, пускай у нас живет, молится, исповедует, полная в этом свобода».

— Отец Зосима, Игорек, поблагодари его. Мне ведь и мама говорила: «Останешься один — иди в Данилов монастырь».

Ко мне то приходили мысли о монастыре, то уходили. Слишком я привязан к тем местам, где жили Тамара и мама, у меня в их доме тоже будто келья. Правда, нет такой молитвы, какую монастырь создает, но на все воля Божия. Все ко мне приходило незаметно, тихо, как в дуновении ветерка, и подсказывало. Буду ждать. Но пока не готов.

Мы как-то были с мамой в Даниловском еще до открытия монастыря, там в то время жили трое монахов да два послушника. Один из них сфотографировал нас с мамой на фоне храма Семи Вселенских соборов. С Даниловым монастырем много связано: семьи Тамары и мамы жили рядом с ним, и работали рядом, и молились, монастырь для них был родным, и место упокоения они выбрали на Даниловском кладбище.

Слова мамы нет-нет да и всплывают: «Останешься, сынок, один — иди в Данилов монастырь...» Вот я и хожу. Постояю, помолюсь, да и назад, в свои «кельи». Пока они меня не отпускают. На все воля Божия!

Христос воскрес! Вот и Пасха, Светлое Христово Воскресение. После ночной службы я лег в четыре утра, в семь поднялся — и на Даниловское. Христос воскрес! Это пасхальное приветствие я привез Тамаре, маме и всем почивающим с ними. Яички, куличики, тюльпаны — цветов море. Пасха Красная... Красная от цветов. Потом я поехал на Хованское к Тамариной маме. От Юго-Западной автобусы отходят один за другим. До каких благоприятных времен мы дожили. Как же не приехать и не поприветствовать своих близких?! Ждать Радуницу? Но ведь можно и не дожидаться, если возьмет к Себе Господь. Душа просит поделиться пасхальной радостью с усопшими. Чего ждать? А на Радуницу мы их всех поминаем и опять придем с ними христосоваться и делиться радостью. Радость должна быть всегда.

На следующей неделе 3 октября — день, когда ушла моя мама. Я включаю запись: мы с мамой поем акафист Споручнице... она со мной рядом, и мы поем в два голоса. Когда она слушала эту запись, то удивленно спрашивала: «Неужели это я?» Слышать свой голос в записи всегда в диковинку. А теперь я слушаю без нее, а она поет и поет...

«Жизнь, зачем ты мне дана?» Для того, чтобы славить Бога, любить людей, ходить в храм, учиться, трудиться, радоваться жизни, написать книгу, построить дом, валяться на траве, которую Господь насадил, и делиться этой радостью со всей Вселенной. А

потом тихонечко уйти к Нему, в вечную Радуницу. Только бы хватило жизни обо всем этом написать, чтобы люди читали и тоже радовались.

«Чую радуницу Божию, не напрасно я живу!» Нет, конечно, не напрасно! Ничего напрасного на свете нет. Все имеет святой великий смысл. Во всем, всегда и везде Господь!

Я стараюсь верить, что книга сложится, если, конечно, из моих разрозненных заметок удастся что-нибудь собрать. Ведь судьба тоже строится из кусочков, а смотришь — и целая жизнь получилась. Жизнь, когда ее начинаешь, кажется большой — ни конца ни края. Так и книга. Начнешь писать — конца этой книги не видно, а не успеешь оглянуться — уже конец. Рассказал, «как текла былая наша жизнь, что былой не была». Книга эта и есть.